

Брюс Фёдоров

# АПОСТАТА

Герои нашего времени



Брюс Фёдоров

**АРОСТАТА. Герои нашего времени**

«Издательские решения»

**Фёдоров Б.**

АПОСТАТА. Герои нашего времени / Б. Фёдоров —  
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-962116-0

Книга о том, какие мы есть. О наших грехах и ошибках, об утраченных идеалах и надеждах, и о вере в искупление и Его прощение.

ISBN 978-5-44-962116-0

© Фёдоров Б.  
© Издательские решения

## Содержание

Ночной собеседник	6
Ветеран	29
Казак	37
Падшие ангелы	53
Коммунист	63
Конец ознакомительного фрагмента.	70

# **АПОСТАТА**

## **Герои нашего времени**

**Брюс Фёдоров**

© Брюс Фёдоров, 2019

ISBN 978-5-4496-2116-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Ночной собеседник

Мысли были тяжёлые, если не сказать мрачные. Максим Берестов был недоволен собой, а заодно и окружающим миром. Даже скользкие капли нудного ноябрьского дождя, порой затекавшие за высоко поднятый воротник поношенного пальто, не отвлекали его от безрадостных раздумий, да к тому же серый ноябрьский день явно не добавлял настроения.

Берестов был писателем. По крайней мере, ему так хотелось думать. Он писал везде и всё, что только можно и о чём его просили. Писал речёвки для местных политических буянов, тосты и высокопарные спичи для ресторанных и площадных аниматоров. Оставался незримой тенью и писал за других душещипательные статьи о любви к родному краю. Ему удалось даже опубликовать несколько своих очерков, посвящённых городским неурядицам, жилищно-бытовым проблемам размером с лестничную клетку и даже о заброшенных за ненадобностью полей и огородах.

Он писал обо всём, за что платили деньги. Его замечали и поэтому, но только иногда; редакторы маститых изданий в минуту расслабленности и душевного покоя снисходительно называли его шустрым малым, а его стиль – забавным и по-своему интересным.

Но у Максима была мечта. Он хотел написать книгу: большую, хорошую, проникновенную. Такую, чтобы она звездой сверкнула на безрадостном литературном небосклоне России. Такую, которая вызвала бы шевеление в мозгах даже у тех, которые давно снесли библиотеки отцов и дедов в утиль, а при упоминании имён Чаадаева или Тютчева лишь криво улыбались, давая понять, что эти личности не числятся среди тех, которым они должны деньги. Он даже написал несколько пробных страниц, но потом бросил это занятие. Слова ложились вкривь и вкось, повторы налезали друг на друга, а узорная нить, стягивающая произведение в единое целое, вообще никак не выплеталась. По существу, и темы книги ещё не было. Выковыривать из неброской губернской жизни вечные истины – занятие скучное и по меньшей мере неблагодарное. Он не Гоголь, да и очередным Хлестаковым никого не удивишь. Сейчас таких много, сейчас их время.

Ноги сами по себе шлёпали по небольшим лужицам, скопившимся во впадинах неровного асфальта. Берестов не обращал на них внимание, равно как и на редких прохожих, которые трусцой, втянув головы в плечи, стремились побыстрее добраться до своих натопленных домов. Это был его любимый маршрут мимо храма Николая Мокрого с падающей колокольней, по бывшей Любимской улице с выходом на Стрелку и дальше по великолепной Волжской набережной до церкви Николая Рубленого. Он любил свой Ярославль, но сейчас ему было не до его величавых древностей. Ещё неделю назад он беззаботно балагурил в облюбованном журналистами и прочей пишущей братией кафе, а сегодня ему исполнилось тридцать три года – день, который чугунной гирей свалился на его сутулую спину, водрузив перед глазами пошлый, переливающийся всеми оттенками ехидства вопрос: «Что я успел сделать за свою уже достаточно долгую жизнь?»

Ответ был ясен, как иордань в безоблачную крещенскую ночь. Ровным счётом ничего. Нет ни имени, ни денег. На убогом гонорарном коште боков не нагуляешь. Есть лишь неприбранная комната в коммуналке, вечно хрипящий компьютерный блок-самоделка да позаимствованный на барахолке холодильник. Не густо. На такую экспозицию порядочную женщину не приведёшь.

«Зачем я вообще связался с этой идеей написать книгу? – Максим Берестов облокотился на парапет, примыкавший к помпезной ротонде, в надежде, что её массивные колонны хоть как-то укроют от речного ветра, раздувающего полы его короткого до колен пальто. – Уж лучше бы устроиться менеджером в рекламное агентство или PR-службу. Престижнее, и заработки не сравнить. А так выискивать в себе откровения, чтобы преподнести их людям, – одна

маета. Я ведь не Чехов и даже не Фадеев, а всего лишь никому не известный Берестов из лубочной глубинки. Сколько таких бродит по стране в поисках луча славы. Неужели мне уготовано коротать свой век в безвестности, в кругу таких же неудачников, как и сам? За рюмкой водки судачить о своих коллегах по цеху, ненавидеть весь мир, навешивая на него свои неудачи и закоксовывая душу в скорлупу разочарования жизнью. Тогда, спрашивается, зачем я вообще появился на свет?»

Берестов тупо уставился в свинцовую плиту водной глади. Волга была молчалива и лишь изредка откликалась возникающими из ниоткуда спиральными завихрениями недолгих водоворотов и спорадическими барашками коротких волн.

«А ведь там, в глубине, должно быть, тихо, покойно? Ни тебе земных тревог, ни долгов и недоброжелательных взглядов. Нет вопросов о безликом и бессмысленном существовании».

Кустистые тёмные тучи сомкнулись с поверхностью воды, прикрыв речную красавицу. Кое-где затлели верхушки фонарных столбов на набережной. Чтобы как-то согреть посинелые губы и дрожащие пальцы, Максим достал из смятой пачки сигарету и, прикрыв от ветра лицо отворотом пальто, раскурил сигарету. «Бикфордовый» огонёк вспыхнул и ало подсветил его вытянувшийся от вечерней прохлады нос и впалые щёки с трёхдневной щетиной. Неожиданно ветер успокоился, ветки прекратили стучать по стволам своих деревьев, пропали сигналы клаксонов автомобилей, только что доносившиеся с окрестных улиц. Стало как-то неприятно и тревожно тихо.

– Как проехать к дому герцога Бирона? – глухо в спину прозвучал чей-то низкий, с иностранным акцентом голос.

Берестов оторопело развернулся, но рядом никого не было. Лишь издали послышался, как ему показалось, удалявшийся звон лошадиных подков да промелькнул размытый силуэт просевшей кареты с открытой дверцей.

– Что это со мной? – вполголоса растерянно произнёс он. – Что за наваждение? Можно ли поддаваться унылым мыслям. Надо быстрее возвращаться к людям. Там, в этой суете, среди себе подобных, я попытаюсь найти ответы на все мои вопросы. Разве это недостойное человека начинание – попытаться создать книгу, насытить её смыслом, привлечь разум людей к её прочтению? Раз мне дарована способность управлять словом, то почему я должен от такой возможности отказываться? Слово и обласкает, слово и накормит, слово и... Если я преодолею в себе навесившие меня сомнения, то обрету уверенность в своих силах и нащупаю дорогу к таланту литератора. Ведь так же может случиться? Я могу вспомнить исторические примеры. Кто уверил меня в том, что я лишён этой благодати? Я ищу лишь вдохновения и уже сейчас понимаю, что за него придётся заплатить отказом от части себя прежнего, от шатания по чужим заказам и облагораживания бездарностей. Разве озарение не может посетить меня в минуты раздумий так же неожиданно, как я сегодня погрузил самого себя в пучину неверия? Разве вера в себя, вера в НЕГО не есть то, ради чего мы являемся в этот мир? Мне нужен лишь совет, намёк, небольшой толчок – и я выплыву на стремнину успеха.

Как человек устремляется в храм, чтобы принести своё покаяние, попросить об успокоении растревоженной души и умолить о помощи, так и Максим Берестов решил побывать там, где он надеялся ощутить столь искомую подсказку.

На следующий день, ближе к полудню, он уже трясся в московской электричке, надеясь ещё до сумерек попасть в многомиллионный человеческий улей.

Вагон переваливался на стыках, разночинный народ гомонил о своём, да моментами в истошном крике заливался грудной ребёнок, то ли радуясь обрётённой жизни, то ли требуя очередной порции материнского молока. Берестов не слышал всего этого шума. Всю ночь он провёл в долгих разговорах с самим собой и теперь дремал, прислонясь к оконному проёму и свесив голову к правому плечу.

Когда он размыкал глаза, то видел пробегавшие за окном тусклые осенние пейзажи, но больше всего его привлекали шпалы параллельного железнодорожного пути.

«Вот когда они лежат хаотично, бесформенной кучей, то представляют всего лишь груды пропитанных креозотом деревяшек, – думал он, – но стоит их сложить правильно, то возникает стройная дорога, по которой можно возить людей и грузы. Так же и слова – если составить их должным образом, в ваших руках окажется рассказ или даже повесть. Если бы знать, как это сделать...»

Площадь трёх вокзалов встретила Берестова ещё большим шумом, беспричинным кружением разноликой толпы и прогорклым запахом несвежей шаурмы. Москва начала нулевых представляла собой малопривлекательное зрелище не только в силу густой перенаселённости, но и по причине непробиваемой запруженности городских улиц и переулков, от начала и до конца забитых автомобилями различной величины и назначения. Всё это крашеное железо безостановочно стонало, грохотало и гудело, надеясь протолкнуться вперёд хотя бы на метр, и наполняло и без того спёртый столичный воздух миазмами бензоловых окислов.

Оглушённый московским размахом Максим некоторое время оглядывался по сторонам, но, увидев площадные часы, на которых стрелки указывали без пяти минут пять, быстро пришёл в себя. Ему надо было успеть туда, ради чего он и приехал в этот большой город. Хотя до Большой Садовой езды на метро не более тридцати минут, но всё же поторапливаться было надо, иначе его планы посетить в этот день выбранный им музей-квартиру окажутся напрасными.

Вскоре Берестов стоял перед домом с номерным знаком «№10» по указанной улице. Дом был большой как по высоте, так и в длину, с тяжеловесным фасадом, вычурными балконами и эркерами. Очевидно, архитектурная мысль недолго билась над своим очередным «шедевром».

Большой дом на Большой улице, парадоксально втиснутый в нишу по соседству с садом «Аквариум», где всего лишь несколько десятилетий назад витал воздух свободы и бунтарства, и серым бетонным официозом, воплотившим в себя принципы строжайшей субординации и диктата, в котором располагалась Военно-политическая академия.

«Через минуту я буду стоять перед дверью, за которой жил великий Мастер, создавший уникальные образы, которые проникли в сознание миллионов, заставили их прислушиваться к себе и сопереживать, погрузили в противоречивые раздумья. Но вначале был он, их творец, слепивший их своими руками и силой разума, передавший каждому частицу себя, то, что жило и в нём самом и было до поры до времени запрятано в сокровенные тайники собственной души. Я увижу его фотографии, замечу спрятанную в уголках рта ироническую усмешку, замечу прищур проницательных глаз с затаившимся немимым вопросом. Я пройду там, где и он ходил, притронусь к стенам и предметам, которых касалась и его рука. Там, за дверью, я сумею ощутить, как билось его сердце, проникну в его мысли, и тогда, может быть, я почувствую озарение, которое вдруг снизойдёт и на меня и отдаст и мне толику его таланта».

Максим Берестов набрал в грудь побольше воздуха и шагнул в заветную арку. Оказавшись на верхнем этаже, он на минуту остановился, рука его зависла в нерешительности, и всё же он вдавил большой палец в чёрную кнопку. На его звонок высокая деревянная дверь медленно раскрылась, и перед ним предстал странного вида человек среднего роста, закутанный в длинный, до пят, персидский шёлковый халат. Чёрные волосы обитателя квартиры были щедро набрильянтинены и гладко зачёсаны назад, в правый глаз вставлен монокль с цепочкой, а усы под длинным мясистым носом топорщились в разные стороны и давно нуждались в нивелировке.

– Здравствуйте, я, кажется, не вовремя? – произнёс Максим, стараясь сообразить, к кому он, собственно, обращается. Был ли это обычный жилец квартиры №50 или сторож музея?

Прежде чем ответить, человек с моноклем несколько раз шмыгнул носом, будто намеревался чихнуть. Потом прокашлялся и проговорил скрипучим, как рассохшаяся половица, голосом:

– Добрый вечер. Вы как раз вовремя. Проходите. Музей, правда, сегодня закрыт. Ну, знаете, прибраться надо, пыль протереть. Но для вас у нас двери всегда открыты. Вас ведь Максим зовут?

– Спасибо, конечно. Именно так меня и зовут, – удивился Берестов и, переступив порог квартиры, оказался в небольшой прихожей, с примыкающим к ней неосвещённым и длинным, как пенал, коридором с высоким потолком.

– А вы кто будете? Экскурсовод, смотритель музея или так служите? И как вы угадали, что меня зовут Максимом?

– Смотритель? – хмыкнул вежливый незнакомец и старательно прикрыл за собой входную дверь, не забыв дважды повернуть в замке длинный ключ с узорной петлёй на конце. – Можно и так сказать, служу. Здесь служу и вообще в разных местах, где доведётся. А то, что ваше имя Максим, так вы нам сами сказали об этом по телефону, как раз накануне своего приезда. Вы ведь издалека приехали? Правда?

«Он и это знает, – почему-то смутился Бекетов, не в силах оторвать глаз от портретного рисунка Михаила Афанасьевича. – Когда я мог ему звонить? Ночью? Не может быть. Так когда же? Или он меня нахально разыгрывает? Тогда это нечестно».

– А вы, Максим, проходите, – засуетился обладатель цветастого шёлкового халата. – Свет я сейчас включу. Чувствуйте себя как дома. Музей в вашем распоряжении. Поверьте, у нас есть что посмотреть. – Монокль с округлым глазом заговорщически подмигнул ему. – Если хотите, прямо в кабинет Михаила Афанасьевича.

Вот оно, рабочее место, святилище великого Мастера, лоно, где как бы из ниоткуда рождались удивительные образы. Обстановка поражала своей утончённой простотой: тяжёлые портьеры до половины прикрывали устремлённые к потолку узкие окна, вдоль стены вытянулся диван из стёганой кожи; напротив его располагался незатейливый деревянный стол, окаймлённый такими же стульями; но главным алтарём являлся, несомненно, письменный стол, вознесённый на небольшой напольный пьедестал. Вот где свершалось кипение мысли Мастера, складывались новые и перечёркивались старые истины, приобретали неповторимый облик неожиданные персонажи и прежде неизвестные сюжеты. Здесь вычерчивалась другая, параллельная линия жизни.

– Кстати, извините, что я не представился. Забывчив, знаете ли, стал в последнее время. Ко мне можно обращаться Аполлинаруй Ксенофонович. Вас устроит? Вам нравится это имя? Мне его не так давно присвоили. Да? Мне тоже. Мне кажется, оно пахнет шоколадом со сливками.

Смотритель с усилием протянул воздух через свой мясистый нос. Потом причмокнул тонкими губами, которые быстро ужались до пределов большой бугристой бородавки, утыканной иглами неровно подстриженных волосков, а лицо сморщилось на манер печёного яблока. С большой долей уверенности можно было сказать, что таким образом смотритель музея попытался изобразить своё расположение к собеседнику.

– Вы лучше сюда пройдите, – Аполлинаруй Ксенофонович широко раскинул руки, – и усаживайтесь в это кресло. Мы его недавно принесли после реставрации. Оно по-своему раритет. Не исключая, что даже старше меня. Не удивлюсь, если века полтора-два назад это кресло стояло в каминном зале у какого-нибудь английского лорда. Посмотрите сами, какая у него чудесная обивка из добротной кожи. Мы, видите ли, люди немного беспокойные, неусидчивые и любим постоянно менять обстановку в квартире. Переносим мебель из комнаты в комнату. Так, больше для разнообразия, конечно. Забавно?

Ладонь смотрящего с короткими толстыми пальцами любовно прошлась по белёсым залысинам на кресельном подлокотнике, а его халат сзади приподнялся наподобие хвоста.

– В нём любил сживать сам Михаил Афанасьевич. – Аполлинарий Ксенофонович торжественно вытянул вверх указательный палец и расправил болтавшийся на шее чёрный шарф с засаленной бахромой. – Вы сможете спокойно осмотреть всю комнату, а заодно я хотел бы предложить вам чай с малиновым вареньем. Вы, верно, добирались до Москвы на электричке? Не самый комфортный вид нашего транспорта, хочу заметить. Мы, должен вам признаться, готовим замечательный чай с чабрецом и добавляем в заварку ещё некоторые редкие травы, но состав их я не знаю. Это секрет нашей хозяйки. Замечательная, кстати, женщина. – Аполлинарий Ксенофонович мечтательно закатил вверх глаза. – Я бы с радостью познакомил вас с Марго, так её зовут, но сейчас её нет дома. А так милейшая собеседница, многое знает, многое повидала. Проказница немного. По молодости, разумеется.

Максим Берестов решил ни от чего не отказываться: ни от чая, ни от кресла, ни даже от встречи с Марго, если бы она вдруг в эту минуту оказалась здесь. И ничему не удивляться: ни тому, что служащий музея знал его имя, ни тому, что был в курсе, как долго он добирался на электричке из другого города. Максим даже пришёл к заключению, что ему знакомы эти люди, вот только вопрос – откуда и почему?

Между тем Аполлинарий Ксенофонович принёс на серебряном подносе чай, налитый в высокую фарфоровую кружку, пару розеток с малиновым и вишнёвым вареньем, блюдечко с нарезанными ломтиками жёлтого лимона, а также графинчик грамм на сто пятьдесят с тёмно-коричневой жидкостью и хрустальную стопку с тонкой талией и принялся выставлять на стол все эти предметы, явно предназначенные для долгого и размеренного вечернего досуга.

– Вы уж извините старика за инициативу, но я подумал, что немного доброго старинного *Coignoisier*, который жаловал сам император Наполеон Бонапарт, вам не помешает. Помню, он не раз мне говаривал: «Тот, кто не уважает коньяк, не уважает Францию». Под него очень хорошо думается. Этак сам Михаил Афанасьевич, бывало, сживал. Я с вашего разрешения, господин Берестов, погашу верхний свет и оставлю только ночничок у дивана. Располагайте собой и временем, а если вам что-нибудь понадобится, то позовите меня. Я буду по соседству. Дела, знаете. Решился наконец-то архив привести в порядок.

С этими словами Аполлинарий Ксенофонович склонил голову в поклоне и, свернув своим моноклем, покинул погрузившуюся в полумрак комнату.

Пошло время. Горячий, пахнущий разнотравьем чай и выдержанный в столетних дубовых бочках коньяк делали своё дело. Максим почувствовал, как его ноги и руки отяжелели и стали наливаясь приятным теплом. Голова всё чаще непроизвольно откидывалась назад, и, чтобы не дать отяжелевшим векам окончательно сомкнуться, начинающий писатель прилагал отчаянные усилия. По стенам поползли причудливые тени, а потолок двинулся на встречу с полом. Перед глазами закружились цветные аляповатые картины с размытыми бледными пятнами, сзади, из-за спины, донеслось осторожное покашливание, и из затемнённого угла вышла тёмная фигура.

Напрягая глаза, Максим сумел различить, что перед ним стоит довольно высокий мужчина в строгой чёрной тройке из дорогой мериносовой шерсти с галстуком-бабочкой на белоснежной рубашке и стильным платком треугольной формы в нагрудном кармане.

Незнакомец дружелюбно улыбался и слегка прищуривал глаза с разбегающимися в стороны частыми лучистыми морщинками.

– Я вас, кажется, побеспокоил. Если так, то извините меня. Не хотел прерывать ваши размышления. Я, собственно, зашёл на минуту, так как мне сообщили, что ко мне пришёл любопытный молодой человек.

Берестов привстал и, не скрывая своего удивления, запинаясь, произнёс:

– Я, кажется, узнаю вас. Вы Михаил Афанасьевич? Но как может быть такое? Ведь прошло шестьдесят лет.

– Больше, семьдесят с небольшим. Это я сам. И рад, что вы меня узнали. Поверьте, мне приятно это слышать. Расскажите мне немного о себе. Давайте присядем. Я буду напротив вас, на этом диване. Так что же привело вас сюда, ко мне, и чем я могу быть вам полезен?

Давно решивший ничему не удивляться Максим чувствовал себя спокойно. Единственное, что его смущало, – это то, что он не знал, с чего начать свой рассказ. Чем он, заштатный провинциальный журналист, мог быть интересен признанному мастеру слова? Меньше всего ему хотелось выглядеть в его глазах глупым и самонадеянным человеком.

– А вы начните с главного. О чём вы мечтаете? – пришёл ему на помощь Михаил Афанасьевич.

– Я хочу написать книгу, но даже не знаю, с чего начать, какую тему выбрать, чтобы она оказалась достойной своего времени и вызвала читательский интерес, – наконец решился признаться Максим. – Я берусь за ручку, сажусь за компьютер, появляются какие-то мысли, и я начинаю писать, а потом всё исчезает, и я не нахожу продолжения. Потом проходит несколько мучительных дней раздумий, до тех пор пока не возникает новый порыв, но всё такой же недолгий, случайный, обрывной.

– Так, выходит, вы писатель? Мне приятно это слышать.

– Нет, что вы, так я себя назвать не могу. У меня, правда, есть статьи, заметки в газетах. Не более того. Никто не знает о моём желании написать серьёзную книгу. Если бы об этом прознали собратья по перу, они просто-напросто подняли бы меня на смех. Они-то воспринимают меня как одного из их цеха охотников за сенсациями. Им не с руки залезать в дебри человеческой души. – Берестов замолчал, явно намереваясь перевести дух и собраться с мыслями.

– Я понимаю вас. Вы осторожны. Это хорошо. – Михаил Афанасьевич перекинул ноги и расстегнул пуговицы пиджака, давая понять, что он готов задержаться за беседой дольше, чем первоначально рассчитывал. – Так что же вас действительно смущает? Кстати, вы забыли представиться, но это ничего. Мне уже сказали ваше имя.

– Извините мою нерасторопность. Моя фамилия Берестов, Максим Берестов. Я из Ярославля. Видите, у меня совсем ничего не получается, даже правильно представиться.

– Напрасно вы так сразу огорчаетесь. У меня тоже многое не получалось. И ничего, как видите. – Мастер поощрительно улыбнулся. – Многие пишут. Всякое. Литература – вещь коварная, как тонкий вешний лёд. Главное в том, что вы ищете. Благодарности от людей? Вряд ли. Напрасный труд. Скорее всего, её не будет. Денег? Назовите мне хотя бы одного писателя, которого его книги сделали богатым. По моему разумению, на Руси писатель обречён быть бедным. Не дано русскому менталитету превращать слово в коммерческий продукт, как это умеют делать цивилизаторы из закатных стран. Тогда уж лучше в купцы, советские директора или, как ныне заведено, в политику или рэкетеры. Славы? Никогда. Известности? Возможно, но и то при условии, что о вас напишут газетчики или скажут по этому... как это у вас называется... телевидению. Об издательствах вообще разговор особый. Во все времена они неприступные монастыри, и каждый со своим уставом, а главные редактора – их строгие настоятели, по закону всевластия почитающие, пожалуй, только одно мнение – своё. Цензоры Древнего Рима могли бы им только позавидовать. Талант, необычность, находка – не в счёт, потому как есть соображения «высшего» порядка. Хотя, не буду кривить душой, и среди них попадаются интереснейшие люди. Это я так ропщу, от прежней обиды. Срываюсь, бывает. Возраст сказывается. Ну как, я вас не сумел отвадить от мысли стать писателем?

– Нет, нет. Я весь внимание.

Михаил Афанасьевич замолчал и, достав из кармана трубку, принялся усердно её раскуривать. Вскоре его лицо окуталось клубами дыма, которые, извиваясь, начали расплзаться по комнате, распространяя в воздухе устойчивый сладковатый аромат. Портьеры у окон взду-

лись и зашевелились так, будто за ними находилось сразу несколько человек. Наконец он заговорил:

– Тогда ещё. Вы, уважаемый Максим, наверняка помните это крылатое выражение, дошедшее до нас со времён неизвестных, ветхозаветных: «Вначале было слово». Так вот, до революции слово было опорой веры. Ему внимали, поклонялись. В советские времена оно приобрело поистине набатное значение. Оно звало за собой, поднимало людей. Его ценили и за него же казнили. А в ваше время Интернета и виртуальных представлений об окружающем мире слово осталось только средством общения и передачи информации. Оно больше не греет, не стучится в сердца, не воспаляет умы, а главное, в него не верят. Если вы скажете мне, что когда-нибудь всё изменится и придут другие времена, я с вами соглашусь, так как всё уже было и ещё будет. Поэтому, мой молодой и настойчивый друг, если вы всё же решили привести себя на жертвенный камень литературы, то я дам вам только один совет: ничего не ожидайте и ни у кого не вымаливайте – ни таланта, ни любви. Это не пожелание, а предупреждение. Вы понимаете разницу? Если вы всё же тверды в своём решении, то вставайте на этот путь и идите по нему до конца без оглядки, и будь что будет. И не забывайте: «Ищущий, да обрящет».

Завершив свой назидательный монолог, Михаил Афанасьевич решительно поднялся со своего дивана, тем самым подавая знак своему ночному гостю, что беседа явно затянулась. Его курительная трубка вспыхнула василисковым огоньком и зачала.

Встал за ним и Берестов, который выглядел смущённым и потерянным. В его голове всё перемешалось, а мысли вступили в противоречие друг с другом. Он уже не был ни в чём уверен: ни в своём замысле, ни в себе самом. Смутившись, он промолвил:

– Я очень благодарен вам, Михаил Афанасьевич, за эту встречу, а также за участие в моей судьбе. Но скажите мне напоследок: почему вы посвятили все ваши лучшие годы столь неблагоприятному делу, как написание книг?

– Всё крайне просто, мой любопытный друг, – необратимость. Вернее сказать – предопределение. И потом, безусловно, надежда на то, что слово моё когда-нибудь и у кого-нибудь всё же отзовется. Для меня этого достаточно. И ещё. Я смотрю жизнь, а тем и сюжетных линий в ней, я вам скажу, предостаточно. На любой вкус и цвет. Выхватывайте одну, которая по сердцу, разумеется, и начинайте.

Слова Мастера гранёными базальтовыми блоками укладывались в основание величественного памятника необоримости человеческого духа. Его откровенность сокрушала, унося прочь сомнения, которые терзали Берестова всё последнее время, по поводу того, стоит ли добровольно предаваться мукам творчества. И всё же то томление, что столь долго тлело в его груди, заставило его произнести фразу, которая повлекла за собой череду неожиданных и необыкновенных событий. Впоследствии Максим немало сожалел о том, что решился её произнести.

– Мне крайне жаль, что я вас больше не увижу, ведь у меня осталось столько вопросов, а ваши разъяснения для меня воистину бесценны.

– Выходит, есть ещё вопросы? – Рука Мастера концом трубки нарисовала в дымном облаке знак вопроса. – Я в начале нашей встречи предупреждал вас о том, что во времени крайне ограничен. Знаете ли, тороплюсь на другую встречу. Давно не видел своих коллег по литературному кружку. И потом, до Киева путь неблизкий, да и паспорт боюсь забыть. Теперь границы там, где их отродясь не было, а вот в Москве я задерживаться не хочу, тем более в такую промозглую осень. Я вообще в этом городе как-то неуютно себя чувствую – не прижился, может быть? И квартира эта стала для меня «нехорошей». А там, на берегах Днепра, я был счастлив и даже любим. О, вы, я вижу, ещё не poznали этого чувства. Оно выше всего сущего, даже литературы. Но я вам помогу. Вы сможете продолжить ваш разговор, но не со мной, а с моим хорошим знакомым. Он тут по случаю оказался.

– Вы имеете в виду Аполлинария Ксенофоновича? – Максим поперхнулся от такого предложения. – Я уже с ним знаком. Он очень странный и на кота похож. Не тот ли он знаменитый Бегемот?

Мастер рассмеялся и успокаивающе положил свою ладонь на плечо Берестова.

– О нет. Я действительно хотел назначить Аполлона в подмастерья к Бегемоту, но потом передумал. Не годится Бегемот в наставники. Слаб он на это. – Михаил Афанасьевич выразительно пощёлкал пальцем по горлу. – Не стал я портить мальчишку. Ему будет назначена другая роль и в другом месте. А здесь он временно. В этой квартире находится больше на правах постояльца. Нет, не с Бегемотом. Запил старик горькую. Не в форме. Да бог с ним.

– Неужели с самим Воландом?

– О нет. Опять не угадали. Куда нам до столь высокой персоны? Да и нет его в Москве. Уехал. Как начались ваши девяностые, так сразу и уехал. Говорит, что даже на Патриарших прудах не может найти ни одной чистой души. Людей много, а душ мало. Скучно ему стало. Упреждая ваш следующий вопрос, Максим, скажу, что и Маргариты Николаевны тоже нет. Улетела. Даже как положено попрощаться не сумела. Торопилась, должно быть. Но я не в обиде на неё.

– Как, на метле?

– Нет, на самолёте, в бизнес-классе. Не меньше. Говорит, что так значительно удобнее и быстрее. Она ведь всегда любила летать. Сама по себе. А теперь, говорит, атмосфера не та стала. Больше смрада, чем кислорода. Экология! Так просто от неё не отмахнёшься. И ещё считает, что в воздухе других крыльев слишком много стало – жёстких и грязных. Она очень щепетильна в этих вопросах и к общению с падшими не привыкла. Сказала, что улетает на Мальдивы. Не знаю, где это, не бывал... Вот с кем бы вас точно познакомил, так это с профессором Преображенским. Очень достойный человек. И учёный большой, и правильный во всём. Так и его нет. В Баден-Бадене старик. Кислые воды пьёт и возвращаться не торопится. Говорит: «Вернусь только тогда, когда те, кому это положено, окончательно вычистят свои сараи». Не уймётся всё. Ворчит: «Ладно появились большевики со своими фантазиями, но до них хоть две большие войны случились, а вот что нынешние в девяностые годы учудили – то слов никаких не подобрать». Но вы не отчаивайтесь. Как раз накануне заехал ко мне один очень знающий господин. Много повидал, много пережил. Одним словом, кладёшь всяческих знаний. Я, видите ли, сам у него многому научился. Он здесь, совсем рядом. По коридору до конца – и дверь направо. Я вас провожу.

Михаил Афанасьевич взял Берестова под локоть и настойчиво подтолкнул к выходу из своего рабочего кабинета. Ночник у дивана, мигнув два раза, погас. А там, где предположительно должна была располагаться невидимая в наступившей темноте отопительная батарея, заскреблись, вначале робко, а потом всё сильнее. Не исключено, что сам мышинный король, включив все свои три головы, принялся острыми зубами перетирать старую древесину плинтусов, чтобы проложить себе и своему серому воинству путь на поверхность.

Они вышли в плохо освещённый коридор и вскоре оказались перед искомой дверью. Осторожно постучав, Мастер открыл её и пропустил вперёд своего начинающего коллегу. Максим переступил порог и застыл в потоке яркого света, изливавшегося изнутри помещения. Придя в себя, он оглянулся, но сзади уже никого не было.

– Проходите, проходите. Я вам очень рад, – приветствовал его вышедший из светового потока благообразного вида пожилой обитатель комнаты, на ходу поправляя очки в тяжёлой роговой оправе. – Не утруждайтесь и ничего не рассказывайте о себе. Я всё слышал и предупреждён. Раз вы мой гость, то первым делом должны отдохнуть. У вас был тяжёлый день. За окном чёрт знает что творится: дождь со снегом, сырой ветер. Бр-р-р. Совершенно промозглая погода. Я лично весь продрог. Располагайтесь там, где вам угодно.

Проморгавшись и привыкнув к яркому свету, Берестов оторопел. Обстановка комнаты, которую и комнатой было назвать нельзя, а скорее парадной сводчатой залой, неким айваном, может быть, была воистину роскошной. Она потрясала. Восточные мотивы перемежались с античным декором Древних Греции и Рима. На полу лежал огромный, во всю площадь почти безразмерной комнаты, ковёр явно персидской работы, искусно вытканые узоры которого составляли изображения всадников на приземистых степных лошадях, сидящих вполборота и натягивающих изогнутые охотничьи луки в сторону бегущих от них оленей с ветвистыми, раскидистыми рогами. В центре, окружённый оранжерейными цветами и райскими птицами, красовался медальон «Шах-Аббас».

Повсюду были расставлены многоугольные приземистые столы на ножках и разнообразная мебель из красного дерева, инкрустированная слоновой костью и перламутром. На стенах, покрытых насечной цветной штукатуркой, висели украшенные бахромой и кистями гобелены с сюжетами из жизни погонщиков караванов, расположившихся на отдых под тенистыми пальмами в благословенном оазисе посреди аравийской пустыни, у спасительного источника с хрустальной водой.

На всевозможных блюдах, чашах и подносах из серебра, покрытых глазурью и барельефами, громоздились горы экзотических фруктов и сладостей, которыми так славятся кондитеры подлунного мира, а в высоких кувшинах из цветного венецианского стекла с таинственным блеском переливалось драгоценное вино. Хотелось думать, что финикийское, пахнущее смесью виноградного сока с мёдом и ягодами можжевельника, или сладкое кипрское, предназначенное для утончённого десерта, которое так полюбилось королю-рыцарю Ричарду Львиное Сердце и его наречённой Беренгарию Наварской.

В воздухе разливался дурманящий аромат ладана и мирра.

Выбрав для себя подходящий широкий диван с высокой спинкой, затканый парчой лилового цвета, Максим удобно устроился на нём и с любопытством первых неотёсанных крестоносцев продолжил осмотр необычного помещения, в котором он оказался. Если чрезмерность восточной пышности его уже начинала утомлять, то произвольно расставленные по углам предметы обихода и вооружения легионеров Древнего Рима вызвали неподдельное восхищение. Здесь было всё: прямоугольные и круглые щиты-скутумы, короткие и длинные мечи-гладдиусы в металлических ножнах, дротики и метательные копья-пилумы, а также ещё шлемы с чёрными и красными гребнями вкупе с кольчужными рубахами и пластинчатыми кирасами. Почему и как в чертоге, где должны царствовать негя и нирвана, оказалось оружие древних воинов, Берестов понять решительно не мог.

– Я удовлетворю вашу любознательность, – послышался осторожный голос, который принадлежал всё тому же аккуратному человеку в очках и костюме, который пригласил его зайти в эту комнату.

Седеющие волосы гостеприимного хозяина рассыпались в разные стороны, в то время как скошенный подбородок, подминая заднюю губу, совершал поступательные движения взад-вперёд, что делало его речь невнятной. Оказалось, что человек сидит на скромном деревянном стульчике, больше похожем на табурет, по-монашески положив ладони на колени и вытянув худую морщинистую шею, поддерживающую маленькую костистую, как у африканского грифа, голову с загнутым клювообразным носом. За его спиной стоял высокий флагшток с прикреплённым к древку полотнищем с изображением фигуры борца, а по бокам – складные маленькие топоры с блестящими лезвиями.

– По вашему лицу, молодой человек, я вижу, что вы сами обо всём догадались. Да, я тот самый, пресловутый, который послал Его на эшафот. Ну, вы понимаете? – Господин неопределённого возраста воздел руки кверху таким образом, что они образовали латинскую букву «V». – По крайней мере, в таком образе палача Спасителя меня изобразил Мастер. Вначале

мне было неприятно, даже больно, но потом свыкся. В конце концов, кому-то надо исполнять роль вековечного зла.

– Так вы Понтий Пилат? Не может быть!

– Почему же не может быть? Как раз может. Позвольте официально представиться: Понтиус Пилатус, наместник и прокуратор Иудеи, Идумеи и Самарии, легат и префект римских легионов и приданных им вспомогательных войск союзников, размещённых в указанных провинциях, удостоившихся «чести» быть покорёнными доблестным Римом и навсегда укрывшихся под сенью победоносного римского орла.

Сняв роговые очки, человек в цивильном сером костюме встал со своего табурета и церемонно поклонился. После чего выпрямился и выставил левую ногу вперёд, уперев правую руку в бок. Лицо приняло горделивое выражение, скулы заострились, а взор устремился вдаль, явно дальше, чем позволяли пределы комнаты, где проходила эта ночная встреча. Вальяжная осанка, засверкавшие глаза, весь его вид должны были бы отобразить величавый облик римского командующего и вызвать страх и почтение у присутствующих. Не хватало лишь пурпурного плаща, лацеры из египетского льна и командирского жезла из виноградной лозы.

Прошла минута, другая. Максим, которому очень хотелось задать следующий вопрос, колебался, не решаясь нарушить торжественность момента.

Человек, назвавший себя столь звучным именем, встрепенулся, приходя в себя, и проговорил:

– Извините. Нелепо получилось. Занесло, кажется. Командующий легионами в цивильных пиджаке и брюках двадцатого века. Смешно, гротескно, особенно перед лицом этого штандарта с силуэтом Геракла, символом моего любимого двадцать второго легиона «Первородного» – именно двадцать второго, а не двенадцатого «Молниеносного», как мне приписывают, – сыгравшим столь значительную роль в моей судьбе.

– Если всё так, как вы говорите и в чём я сомневаться не имею права, то вам сейчас, выходит... – глаза Берестова принялись блуждать по романтической обстановке залы, стараясь выхватить что-то осязаемое, какой-нибудь доступный его пониманию предмет, чтобы использовать его в качестве опорной точки для того, чтобы привести в порядок своё окончательно раздёрганное восприятие окружающей действительности. Ему вдруг стало нехорошо, ощущение тошноты набегаящими волнами стало подкатывать к самому нёбу.

– Именно так. Две тысячи лет, – ответил Пилат, ломая в язвительной усмешке свои тонкие губы, и, шаркнув ногой, изобразил церемониальный поклон. – А что? Неплохо сохранился. Впрочем, я заговорился. Хозяину надлежит ухаживать за своим гостем. Для начала хочу предложить бодрящий эфиопский кофе и кисть винограда из земель Таврикии.

Пилат подошёл к столику, который стоял рядом с Максимом, и, сняв с белого кварцевого песка бронзовую турку, стал наливать из неё кофе. Ароматная тёмно-коричневая струя побежала по тонким стенкам изящной керамической чашечки, на дне закручиваясь в спираль и поднимаясь кверху в виде кружевной карамельной пенки.

– Прошу вас не стесняться и ни в чём себе не отказывать. Ночь впереди долгая, и я рассчитываю, что вы отведаете вся яства, выставленные на этих столах. Отказов я не принимаю, и без хорошего ужина, равно как и без раннего завтрака, я вас не отпущу, – продолжал говорить самозванный прокуратор, бросая быстрые взгляды на сидящего перед ним ночного гостя. – И кроме того – что лично для меня весьма важно, – мы оба с вами, господин Максим Берестов, коллеги по эпистолярному жанру. Я ведь тоже книгу пишу.

– Очевидно, за столько лет вы написали немало книг, уважаемый хозяин? – Максим решил подыграть этому забавному человеку, предпочитавшему, чтобы его называли Понтием Пилатом.

– Всего одну, и ту докончить никак не могу. – Пилат от огорчения прикрыл глаза ладонью – весьма эффектная поза для театральных актёров и начинающих авторов. – А ведь моих

воспоминаний хватило бы на тысячу томов мемуарной литературы. Сколько событий, сколько воспоминаний! Особенно дорожу впечатлениями, которые получил в годы беззаботной юности. Тогда я возглавлял отряд всадников, состоявший из трёх турм. Под моим началом находились сто отборных бойцов. Это были отличные воины, набранные на добровольной основе из числа скифов-сарматов. Я не знаю ни одного врага, которого они не могли бы сокрушить.

Мы тогда только осваивали Трансальпийскую Галлию, и схватки с племенами аллаборгов, аквитанов, гельветов были постоянными. Дрались они отчаянно. Их бесстрашие не знало предела. Особенно мне запомнилась битва с объединённым войском секванов и ремов. Бой шёл до позднего вечера, пока мы их не сломили окончательно и оставшихся в живых загнали в глубокий овраг. Никто не дождался от нас пощады. После кровавой расправы опять тронулись в путь. Местность была лесистая и очень холмистая. Поэтому мы ожидали засаду за каждой возвышенностью, которую нам могли устроить жители любой деревушки. Наконец мы вышли в излучину реки Аксоны, где перед нашими глазами открылось довольно большое поселение ремов. Мужчин в нём не было. Они или погибли в сражении с нами, или разбежались и спрятались по лесам. Была зима, нормальных дорог было мало, да и те к утру заметало снегом. Поэтому нам нужны были жилища этих галлов для обогрева, их припасы и повозки для продолжения похода.

Одним словом, всех женщин и детей нам пришлось перебить – всё равно они без еды и одежды, которые мы у них забрали, эту зиму пережить не смогли бы. Такова неумолимая логика любой войны. Экзекуцией командовал мой заместитель Марк Гелла, которого вы почему-то называете Крысобоем. Тогда он был ещё эквитом и моим помощником по турме. Сильный и отважный боец, только чрезмерно жестокий.

Я любил войну. Она наполняла жизнь смыслом, и более высокого проявления дружбы и приязни, чем у своих легионеров, среди людей я не встречал. Может быть, кому-то не по душе грубые солдатские шутки и нравы, но только не мне. Я ценил их крепкое слово и стойкость в бою.

А что Марк? Марку я доверял свою жизнь, и он всегда прикрывал мою спину. Видя, как он яростно обрушивается на неуступчивых германцев, я знал, что победа будет на нашей стороне. Как славно сверкал гладиус, которым он разил облепивших его врагов, каким грозным был его воинственный клич, который приводил их в трепет. И, взглядываясь в его изрубленное, в шрамах лицо, я знал, что оно ближе и дороже мне, чем умашённые благовониями и коринфскими мазями лица римских сенаторов.

Я любил своих солдат, и они отвечали мне взаимностью. Данное мне за военные подвиги прозвище – «Золотое копьё» – было заслуженным, и я носил его по праву, не вызывая сомнений ни у кого, даже у самых злостных завистников.

Я до сих пор считаю, что в войне есть оздоравливающий компонент. Только испытав безмерные несчастья, люди начинают понимать и слышать друг друга, и к ним возвращается доброта.

Но вот в чём дело. Я не могу забыть крики умирающих галльских женщин. Они не хотели умирать и хватались ладонями за наши мечи, стараясь их удержать, когда мы заносили разящие клинки над головами их детей. Легионеры смеялись и хвастались рассечёнными телами, а Крысобой уверял всех, что он за раз насадил троих местных жителей на одно копьё.

Тогда впервые я задумался о живущем в каждом из нас зверином начале. Жизнь солдата проста и незатейлива. Он знает цену кубку доброго флоренского вина и чёрствой пшеничной лепёшке. Если убивает, грабит, насилует, то делает это либо по приказу, либо с дозволения высшего начальства, а потом вновь веселится и бражничает в кругу друзей и рыжеволосых путан. Жизнь легионера коротка, и потому ему некогда печалиться. Но меня ждала иная судьба. К доблести на полях сражений я присовокупил удачную женитьбу на незабвенной Валерии Прокула из знаменитого патрицианского рода Тибериев. Блестящая карьера была мне обеспе-

чена. Тогда я окончательно убедился в том, что нити судьбы находятся в руках богов. Не верить в их могущество по меньшей мере неразумно. Когда идёшь в бой, когда мучаешься от глубокой раны, которую нанёс тебе ловкий враг, остаётся только одно – взывать к могуществу высших сил. Именно поэтому перед началом сражения авгуры всегда выносили жертвенник перед легионами и гадали на внутренностях, вымаливая победу. Римские боги жестокие, и милосердие им неведомо. О том, что оно существует, я узнал много позже. Я солдат и более привык к рукоятке меча, чем к креслу прокуратора. Как солдат, я давно свыкся с мыслью о смерти; став прокуратором, я захотел жить вечно.

– Я вспомнил, наконец, как я вас должен называть в соответствии с занимаемой вами должностью – игемон, властитель, – не к месту воскликнул Максим Берестов, которому был интересен рассказ Понтия Пилата о своём боевом прошлом, но он ждал большего. Он ждал откровений о самом сложном решении, который вынужден был принять этот противоречивый, сотканный из оттенков добра и зла человек.

Он хотел услышать о беседе с Тем, кто пришёл спасти этот заблудший мир. Разве этот вежливый и смущающийся человек мог быть тем жестокосердным правителем, который в своё время ежедневно утверждал смертные приговоры? Но вместо основного вопроса начинающий писатель спросил совсем о другом. На большее он не осмелился. Его взяла оторопь от того, что он, обычный журналист из провинциальной глубинки, получил возможность говорить с тем, кто стоял у истока события, сформировавшего современную цивилизацию. Он не решался признаться самому себе даже в том, что испуган, как может быть испуганным любой человек, стоящий перед тысячелетней загадкой в надежде её раскрыть. Узнать то, ради чего пролиты реки крови и принесены в жертву миллиарды жизней. Поэтому Берестов смог лишь невнятно проговорить совершенно никчёмную, отвлечённую фразу:

– Знал, читал, как вам непросто приходилось собирать подати, строить дороги и акведуки. Усмирять недовольных и бунтующих – тоже дело нелёгкое. Не подумайте, я никак не порицаю вас. Наоборот, понимаю – должность обязывает.

– Вот именно, должность, – оживился Пилат. Его асимметричное лицо расцвело странной улыбкой. – Разве я, если бы знал, к чему меня всё это приведёт, взялся бы за такие дела? Дня не прошло за эти тысячелетия, чтобы я не пожалел о содеянном. Но тогда, когда благословенной памяти император Тиберий решил, что я должен стать прокуратором этих земель, я был рад и горд, получая от него именной указ. Мой новый статус возносил меня над другими людьми. Вы знаете, молодой человек, что такое власть? Она дурманит голову, ласкает вас нежнее рук любовницы. Вы упиваетесь возможностью вершить судьбы тысяч: отнимать у них имущество, посылать строить дороги, заключать в тюрьмы и разрушать их семьи. Казнить и миловать.

Вы – «бог», слову которого внимают согласные со всем «рабы». Вас славят и превозносят, на пирах льётся вино и звучат льстивые здравицы в вашу честь, поются песни и слагаются стихи. Лучшие скульпторы и художники создают и расставляют по всем городам и весям ваши статуи и наносят на стены прекрасные фрески о ваших подвигах, которых, может быть, и не было, но они обязательно останутся таковыми в памяти потомков. Потому что о них напишут летописцы и они станут частью истории. У покорённых народов отбирается всё, чем они гордились прежде: их мужество и будущее, а главное, их вера. Невозможное становится возможным.

Перед вашим венценосным и державным могуществом склонятся все: покорные станут рабами, смутьяны пойдут на галеры, и их имена растворятся в песках времени. Их, но не ваше.

– Вы ещё не знаете, что такое должность. Она благоухает, как мелия, будоражит и волнует, как женщина! – Пилат неистово, с вожделием втянул в себя через ноздри воздух. – Именно так. Обычного, незаметного человека она превращает в провидца. Глупого – в мудреца. Низкого развратника и пьяницу – в создателя новой морали. Приходит человек, весь

собранный из добродетельных начал, открывает дверь кабинета, где ему назначено работать, и первое, что он там встречает, – это «её величество Должность», несокрушимую и уверенную в святости правил и норм, ею же и установленных. И человек сникает. Теперь и он не он. Должность улыбается ему и всасывает его, поглощает целиком со всеми его прежними принципами, и вот теперь он и есть сама эта Должность. О власть! – Пилат встал и в восторге закурился по залу. – Ты магия.

Лицо его покраснелось. Щёки собралась комочками. Очки слетели с переносицы и упрянтаны в карман. Глаза заблестели странным блеском. Руки распахнулись в разные стороны так широко, будто он вознамерился обхватить ими весь земной шар.

– Что же мы не пьём? – вдруг воскликнул прокуратор и, прервав своё кружение, моментально оказался перед диваном, на котором размяк несостоявшийся писатель из двадцать первого века. – За это надо выпить. Срочно подать нам высокие кубки и кувшины с токайским с дунайских равнин и рейнским с берегов быстроструйной реки, где обитают лохматые херуски. Я был там, я покорял эти пространства.

Куполообразный потолок комнаты озарился зеленоватым всполохом, ярким и размашистым, как полярное сияние, которое выплели из своих волос златокудрые девы-валькирии. Изображения оленей на настенных гобеленах ожили и понеслись вскачь, а вслед им полетели стрелы, выпущенные из луков удачливыми охотниками на конях, путившихся в бешеный аллюр. Расставленные по углам высокие напольные светильники разом вспыхнули языками алого пламени, и по их витым колоннам побежали бронзовые ящерицы. Тяжёлые оконные портьеры вспучились буграми так, как будто кто-то стремился раздвинуть их снаружи и ворваться внутрь помещения. Прозвучали звуки, как от падающей мебели, и раздался чей-то гомерический хохот, вскоре перешедший в протяжное и заунывное мяуканье, – должно быть где-то за диваном проснулся и недовольно завозился разбуженный происходящим любимец Пилата – Банга, а может быть, сам Тузбубен. Стены зала пришли в движение, формируя овальный, похожий на подземный туннель, коридор, уходящий в бесконечность.

Неведомым образом в руке Максима оказался металлический кубок с тёмным бархатистым вином, и безликий голос начал настойчиво наговаривать ему в ухо:

– Пей, пей, пей до дна. Ты должен испить эту чашу.

Берестов, не отрываясь, осушил свой кубок, отбросил его в сторону и безвольно повалился на диван. Сознание раскачивалось, как потревоженная вода в стакане. Возникали и исчезали незнакомые образы: чьи-то круторогие козлиные морды, выпячивающие оскаленные зубы; разверзнутые в последнем крике рты мучеников инквизиции на горящих кострах и непрерывная череда полупрозрачных тел с покрытыми чёрной вуалью головами, уходившая вдаль.

– Где это я? Что со мной происходит? – Чтобы прийти в себя, писатель обхватил голову руками, стараясь вытряхнуть из неё туман наваждения, и прикрыл ладонями всё лицо. Время остановилось; постепенно, удаляясь, затих набатный звон. Наступившая тишина скрадывала тошнотворные ощущения. Сердце замедлило до того неукротимый ритм.

Почувствовав, что он вновь обретает себя, Максим осторожно раздвинул пальцы перед глазами, всё ещё опасаясь увидеть творившуюся вокруг него фантазмагорию. Однако то, что он рассмотрел, никак не поразило его, а скорее явилось для него своеобразным облегчением. Если бы это был Пилат, ещё недавно гордый своим величием человек, победоносный воитель, завёрнутый в праздничную белоснежную тогу с бордово-красной оторочкой патриция, произносивший речи во славу богоподобного императора Трояна и себя самого, Берестов не удивился бы.

Перед ним на полу коленопреклонённым стоял согбенный, сжавшийся в комок человек в мятом сером костюме современного покроя, который, сгибаясь и разгибаясь, выкладывал

земные поклоны. Губы его беспрестанно шевелились и что-то нашёптывали. Максиму показалось, что он даже сумел различить слова:

– Отче прости меня, прости меня, ибо грехи мои безмерны. Тяжко и тяжело мне и здесь, и там. Возьми меня к себе в царствие Твоё. Прости меня, Отче.

При виде чужой безысходности Берестов почувствовал себя бодрее. Страх исчез, и он наконец осмелился снять ладони со своего лица, которыми пытался закрыться от жутких видений, до того целиком поглотивших его.

– Игемон, кому вы молитесь, к кому вы взываете? Отчего вы в таком отчаянии? – наконец произнёс он.

Всё успокоилось в зале. Стулья, комоды и диваны прекратили вращаться по своим орбитам и расставились по своим местам; погасли и исчезли светильники; словно дым из кальяна, растворились в воздухе предметы воинского снаряжения. За портьерами никто не шевелился и не издавал пугающие звуки. Теперь это была уже не утопающая в неземной роскоши опочивальня восточного владыки, а обыкновенная комната со старыми обоями, кое-где оборванными и свисающими по стенам безобразными лоскутами, скрипучими деревянными стульями и протёртыми и проваленными креслами. От прежней обстановки сохранился, правда, десертный столик из тёмно-красного дерева с резной крышкой, в которую были искусно вмонтированы сверкающие блёстками зразы из серебра и золота. На столе стояли чашки с полупрозрачными фарфоровыми блюдцами, блюдо с фруктами, простой стеклянный кувшин, возможно с вином или с фруктовым соком, да пузатый керамический чайник, который медленно подогревался на спиртовой горелке.

Маленький человек в сером костюме поднялся с пола, выпрямился и вновь водрузил на свой хрящеватый нос роговую оправу очков. Садиться в кресло или на стул он явно не спешил, а принялся мелкими шажками мерить сжавшуюся до прежних размеров комнату из конца в конец и лишь иногда искоса посматривал на Максима.

Чтобы преодолеть возникшую неловкость, Берестов повторил свой вопрос:

– Извините мою настойчивость, игемон. Я понимаю, что выгляжу более чем странно со своим неуместным любопытством, но я ведь только хотел...

– Оставьте свои объяснения, господин Берестов, – прервал его спутанную речь римский прокуратор. – Как раз всё уместно. Более того, я ждал этого разговора. Думаете, у меня много выпадало возможностей, чтобы вот так, по-простому, душевно поговорить с другим человеком за эти проклятые две тысячи лет? И вот что, пожалуйста, не зовите меня более игемоном. Это всё в прошлом. Лучше Пилат или Понтий. Для меня это имя привычней. Так вот, я обращался к Нему, к Тому, которого однажды, подчиняясь очарованию власти, обрёл на мучительную смерть. Может быть, против своей воли, но ведь сделал это. В угоду обстоятельствам. Я говорю о Нём, о нашем Спасителе.

Пилат предупреждающе поднял руку, чтобы предостеречь писателя от следующего вопроса. Теперь он прекратил своё хождение и стоял напротив Максима, метра в двух от него, и смотрел сверху вниз.

– По своему чиновничьему недомыслию я уничтожил сокровищницу духа, раскрывшуюся перед нами, живущими на земле. – Пилат ладонью протёр вспотевший лоб. – Вы не знаете, что такое оказаться в чертогах римского бога Оркуса, владыки подземного мира, и, я надеюсь, никогда не узнаете. О, это удовольствие не для слабых. Не знать ни времени, ни надежды, пребывать без слова и мысли, не ведать собственного тела, не осязать и не чувствовать. Не видеть близких и даже прежних своих врагов. Никого. Всё стёрто перед вашим взором, которого тоже нет. И лишь питаться прахом самых скверных и проклятых Богом и людьми грешников, пересыпая его туда, где некогда было ваше горло, под непрекращающийся харкающий смех северного бога-пересмешника Махаха. В проклятое место попадают все: цари и воеводы, обладатели несметных сокровищ и бессребреники, добрые и злые. Потому как на всех лежит грех, если

не по делам, то по словам и мыслям их. Все должны соприкоснуться с тем, чему и названия нет. Бездна притягивает, сложно удержаться на её краю... А потом, много позже чем потом, возник свет, и я пошёл за Ним, и вышел из обители ужаса и забвения. И это был Он, тот, которого я судил на ступенях своего дворца. О, Он предстал передо мной как луговая роса, увлажнившая потрескавшиеся губы пустытника, как крепкая рука поводыря, ведущая за собой ослепших и беспомощных.

Рука Пилата поднялась, сомкнутые пальцы коснулись лба, а потом безвольно опустились. Он так и не решился завершить крестное знамение.

– Так это был Он – Иисус по прозванию Христос? – в волнении воскликнул Берестов и тоже поднялся на ноги из своего кресла, на которое давно переместился с необъятного дивана.

– Да, это был Спаситель, Тот, ради которого я готов был бы перевернуть куб галактики, если б смог, или заставил бы всевышнего змея Эля поменять местами планеты, развешанные на его кольцах, если бы тоже смог. Но нет. Не дано мне это, да и не принял бы Он такие поступки.

Постойте. Я вижу, мой дорогой гость, что вы хотите, чтобы я вслед за несчастным Тересием открыл смертному правду о мире богов и поплатился бы за это лишением способности понимать язык птиц и животных и видеть будущее. Хорошо, пусть будет так. Я пойду на этот риск. Я не могу отказать человеку, за которого меня попросил сам Мастер, давший мне возможность существовать и переживать прежние страсти на страницах своей книги.

Когда я вырвался к свету, я стал искать повсюду ответ или хотя бы подсказку, что я должен совершить, чтобы воссоединиться с Ним и пребывать в царствии Его. Я молился между лапами вечного Сфинкса во все дни солнечного равностояния; я таскал камни к подножию храма Кетцалькоатля в Мексике при его строительстве. Пересекал без воды пустыни, следуя за караванами бедуинов; скитался в одиночестве в утлом челне по бескрайнему солёному океану. Спрашивал небо и протягивал руки к звёздам. Никто и нигде мне не смог дать ответа.

Как желал бы я оказаться на месте хотя бы праведного зараострийца, которого у врат рая встретила высокая прекрасная дева, и душа которого спросила её: «Кто ты, девушка, прекраснейшая из виденных мною женщин?» – «Муж благих мыслей, слов и дел, – ответила она, – я твоя благая вера, твоё собственное исповедание. Ты был всеми любим за твоё величие, доброту и красоту, за победную силу, ибо и ты меня любил за моё величие, мою благодать и красоту». С этими словами вера повела душу в место обитания блаженных. Известно ведь, что «первый шаг приводит душу к добрым мыслям, второй – к добрым словам, третий – к добрым делам, и через эти три преддверия рая душа достигает рая и входит в вечный свет (Яшт, 22)».

– Но нет, не суждена мне была такая участь. – Бывший римский всадник, явно измученный своими откровениями, устало опустился на скрипнувший под его телом стул и положил поверх стола руки. – При жизни мне уготовано было карать и принуждать. Я грелся в лучах славы, а воля моя была скована нормами римских законов. Неотвратимость наказания и его суровость стали сутью моей деятельности. Приводили ко мне бедную вдову, укравшую хлебную лепёшку для своих голодных детей, – я приговаривал её к бичеванию на площади; базарному воришке палач-ланиус отрубал руку; дорожного грабителя-убийцу забивали бамбуковыми палками до полусмерти, а потом топорик ликтора отрубал ему голову; бунтовщика и смутьяна, подбивающего толпу на оскорбление величия императора и на погромы, приколачивали к кресту и обрекали на позорную смерть от жажды и истощения.

– Я вижу немой вопрос в ваших глазах, а может быть, даже упрёк, – неожиданно прервал свой монолог Пилат и криво усмехнулся. – Другого я не ожидал. – Прокуратор снял пиджак и ослабил узел туго завязанного галстука. Ему стало душно в жарко натопленной комнате, и сами воспоминания жгли его не меньше. Римский наместник наполнил бокал вином и залпом выпил его.

– Совсем нет. Не мне порицать вас. В наше время, в двадцать первом веке, как и прежде, в период варварства и Древнеримской империи, продолжают всё так же грабить, воровать, насиловать, и за эти дела сурово наказывают. Природа преступлений не изменилась, – поспешил успокоить своего хозяина Берестов и наполнил себе и Пилату кубки прохладной кекубой. Ему подумалось, что если он солидарно выступит благодарным виночерпием, то это сгладит возникшее в разговоре напряжение.

– Ну вот видите! – почти радостно воскликнул прокуратор. Глаза его засветились, и правой рукой он начал размашисто рубить воздух, будто надеялся таким образом вколотить в свою речь новые аргументы. – Человеческая порода не изменилась. Оставишь незапертым свой дом – его обворуют, выйдешь один на дорогу – ограбят, а то и жизни лишат. Протянешь человеку руку – он с неё покормится, а потом укусит. И главное, что есть во всех нас, – врождённое стремление к предательству. Человек предаёт всех и вся. Делает это намеренно, если не сказать со страстью. Предаёт своего императора и своих друзей. Предаёт отца и мать и своих детей. Предаёт свои мысли и цели, чувства и обещания. Предаёт самого себя. Разве это не поразительно?

– Вы, наверное, имеете в виду прежде всего Иуду Искариота? Не так ли? – Максим с интересом наблюдал, как от возбуждения и выпитого вина кровь алой волной подступила к щекам наместника Иудеи.

– Именно, – чуть ли не с восторгом воскликнул Пилат. – Конечно, его, незабвенного, патриарха всех предателей, уравнившего себя с Каином. Хотя... – Прокуратор задумался. До того пронзавшая воздух рука безвольно опустилась вдоль туловища, и собеседник Берестова вернулся на свой скрипучий стул. – Иногда поступок Иуды видится мне в другом свете. Но давайте об этом не будем, по крайней мере сейчас. Повременим... Как меня предупредил Михаил Афанасьевич, вы, господин Берестов, пришли сюда в надежде обрести некое откровение – как и о чём вам писать? Вот вам мой совет: пишите о том, что видите вокруг себя и чувствуете. Люди это поймут и, глядишь, оценят. Вон сколько ежедневных событий. Поверьте – человеку часто хочется смотреться в книгу, как в зеркало, и видеть в нём свои собственные уродства, а заодно и убедиться в том, что на свете живёт много негодяев похлеще него. Приятно иногда вывернуться наизнанку и узнать, что дела у другого хуже, чем у тебя самого. Бодрит, знаете ли.

– Да, таких моментов хватает, – согласно замотал головой Максим. – В моей коммунальной квартире сколько угодно встретишь таких сюжетов и персонажей. Один сосед стал врагом на всю жизнь, потому что я ему не одалживаю денег на водку. А какой смысл ему в долг давать – он никогда не отдаст. У другой соседки сын беспробудно наркоманит, в комнатах хоть шаром покати. Так она весь мир через собственную неустроенность возненавидела. Неужели об этом писать? Обыденно, мелкотравчиво. Скуку навевает. Ведь есть же что-то лучшее в людях?

– Ах вот как. Значит, вы думаете, что красотой спасёте этот мир? – Пилат победоносно ухмыльнулся. Спина его выпрямилась, а пальцы начали дробно выстукивать незнакомый Максиму марш. Затем прокуратор несколько раз обернулся, будто хотел убедиться в том, что в комнате больше никого нет, и только после этого вновь воззрился на своего собеседника. – Красота хороша в застывшей внешней форме: величавость Колизея, колоссы Мемнона, колоннада Пропилеи, статуи Афродиты Книдской и Геракла Фарнезского. Они потрясают. Как восхитительны эти редкие примеры взлёта человеческого духа. А как трогательны весной цветущие апельсиновые сады и набухшие гроздья виноградной лозы осенней порой.

Наместник подтянул к себе блюдо с виноградом и принялся одну за другой отщипывать вишнёвого цвета ягоды и отправлять их в рот. Насытившись, он опять бросил внимательный взгляд на Берестова и промолвил:

– А вы всё хотите найти красоту внутри самого человека? По силам ли задача? В этом материальном мире всё материально, даже чувства.

Смутившийся Максим не осмелился возражать и предпочёл сохранить молчание, боясь нарушить обступившую его тишину. Всюду – в комнате, за портьерами, под плинтусом – всё будто замерло. Он было начал сожалеть, что приехал в этот, как оказалось, совсем незнакомый ему город. Пришёл в эту пугающую квартиру, где встретился с людьми, которые предстали перед ним столь необычными и властными, что подавляли его волю, а логика отказывалась обслуживать его мысли.

– Хотя, по правде сказать, Он был первым, кто сказал о вере в человека, но боюсь, что Он остался в одиночестве в этом своём суждении, – раздался голос от стола. На сей раз лицо Пилата приняло строгое выражение, за которым проглядывал облик неумолимого командира конных турм, ведущего за собой передовую алу в атаку. – Да, я говорю о Нём, о Йешуа Га-Ноцри, которого все мы знаем как Иисуса Христа. И вот что я вам говорю, мой молодой и амбициозный коллега: не пытайтесь проникнуть в Его мысли, понять их, объяснить исходя из привычных вам представлений. Ему можно только верить.

Наступила очередная томительная пауза, нарушить которую первым на сей раз решился ярославский писатель:

– Я верю Ему, но почему вы, который Его видели, разговаривали с Ним, не поверили Ему в тот самый ответственный момент? Как вы решились отправить Его на страшные муки?

Лицо прокуратора стало пепельным. Образ надменного римского военачальника рассыпался, и, похоже, навсегда. Плечи вновь сгорбились, а ладонь правой руки ухватилась за отвалившийся подбородок:

– Я поверил Ему, но толпа иудеев неистовствовала. Ей не нужен был праведный суд. Она требовала кровавого зрелища. Я подчинился их желанию, хотя в душе был уверен, что Он не виновен.

– Да как же так? Как буйство народа могло повлиять на ваше решение, на вас, который был полновластным распорядителем жизни всех этих несчастных, забывших Его благодеяния? За вами же стояло могущество несокрушимых римских легионов и победоносного орла империи! – Писатель в порыве возмущения всплеснул руками. – Как могло вообще такое случиться?

– Как вы, в сущности, наивны, молодой человек. – Пилат не пытался скрыть проступившего у него на лице презрительного выражения. – Да будет вам известно, что нас неоднократно побеждали и Ганнибал, и Ксеркс, и Митридат, и даже варвары-германцы в Тевтобургском лесу, многие. Сила Рима в другом – в политике, в изошрённом коварстве. Мы превзошли всех в искусстве обмана, умении перессорить друзей, переманить на свою сторону союзников своих противников, пообещав им раздел покорённой территории. А как замечательно, постепенно, осторожно, десятилетиями внедряли своих людей в ближайшее окружение чужеземных владык. Лесть, посулы, самые грязные интриги – более верный путь к победе, нежели стальное лезвие испанского меча или копьё-сарисса. И конечно, золото. Золото, которое раньше служило богам, а потом стало служить людям, извратившим его природу и приспособившим для достижения своих корыстных и самых низменных целей. Часто железные римские когорты вступали в сражение только тогда, когда победа в нём была уже для них подготовлена. Вот в чём основа наших «свершений»: тем или иным способом покорить другие народы, отобрать у них умения и богатства, заставить их трудиться и воевать за наше благо. В Иудее я должен был обеспечить спокойствие, чтобы продолжить беспрепятственно собирать налоги, поддерживать местное производство и торговлю товарами, крайне необходимыми погрязшему в роскоши и разврате Риму. Вот моя первостепенная задача и ответственность перед властителем мира, обожаемым Трояном.

Теперь Берестов смотрел на Пилата по-другому, без прежнего восторга, который безотчётно возник у него в начале их знакомства. Ему перестали нравиться как сам пафос отставного прокуратора, его восхищение атрибутами власти, так и главное – презрительное отноше-

ние к людям, которых он не различал, а рассматривал исключительно в качестве расходного материала, необходимого для возведения монументального здания государства.

– Вы слишком строги к людям, уважаемый наместник Иудеи, – осторожно подбирая слова, произнёс Максим. – Возможно, они не так плохи и заслуживают лучшего к себе отношения? Да, в них есть и жадность, и безудержная жестокость, но вот если дать им больше добра, внимания, разглядеть в них не только зверя, но и личность, разве их сердца не откликнутся, а душа не прирастёт любовью? Разве тогда вы, как вершитель их судеб, не проявите к ним снисходительность, не согласитесь уравнивать свои чувства и мысли с их скромными жизненными целями? Может, тогда и вы назовёте людей братьями, так как они подобны вам, но только вы на вершине Олимпа, а они влачатся в робах нищих и обездоленных?

– Прекраснодушные слова, мой доверчивый незнакомец. Вера в человека! Какая возвышенность! А мой двухтысячелетний опыт, выходит, в зачёт не идёт? Благодарю, благодарю вас. Весьма признателен. – В голосе прокуратора звучала нескрываемая обида. – Я вам толкую, столько рассказываю из того, что было и что я сам пережил, а вы так и не снизошли до самой естественной и несложной вещи – попытаться понять меня. Благодарю ещё раз. А впрочем, на что я надеялся? Давайте лучше пить чай с кардамоном. Напиток очень хорош – недавно привезён из Египта.

Пилат сам снял с горелки подогретый чайник и налил себе полную до краёв чашку, оставив Максима без внимания. После чего принялся сосредоточенно размешивать в ней два кусочка белого рафинадного сахара, который накануне приобрёл в угловом магазине неподалёку. Чай, видимо, был действительно хорош, так как Пилат пил его не торопясь, маленькими глотками и явно смакуя; часто делал перерывы и тогда просто сидел, не шевелясь, и только всматривался в паровую плёнку, поднимающуюся над светло-коричневой поверхностью горячей жидкости.

Он сохранял упорное молчание. Молчал и Берестов, уже пожалевший о том, что произнёс необдуманные слова, и укорявший себя за это.

– Ладно. Продолжим. Вам позволительно ошибаться, господин Максим Берестов, – наконец смилостивился обладатель серого костюма и роговых очков. – Как-никак вам всего лишь тридцать, и лимит ошибочных выводов и заключений вы ещё не исчерпали. В эти годы и я был ещё так неопытен. Вот если бы позвать сюда Воланда, то он разложил бы всё по полочкам, но он, как говорит высокоуважаемый Михаил Афанасьевич, сейчас далеко. А жаль. Занят, видите ли, поиском своей истины. Ха-ха... Знаем его, не говорите, – «*In vino veritas*» вернее будет. Так что придётся обходиться своими силами. Кроме того, как я знаю, вы, Максим, живёте в таком уютном, красивом, хотя и маленьком городе, как Ярославль. Я там не был и, к сожалению, наверное, уж не буду никогда. Но я вам завидую и допускаю, что там ещё можно встретить сердечных людей, но в Москве – никогда. Слишком много порока и страсти. Отсюда ваше прекраснодушие.

– Прошу извинить меня за дерзость мою. – Ярославец решил добиться своего – ясности. – Я повсюду встречал неплохих людей. И здесь, в Москве, тоже. Может быть, жёстче других, но всё же. И вы сами, как я понял, в чём-то искренне превозносите императора Трояна и любили свою жену Валерию Прокулу, находя в ней редкостные достоинства. Ведь я прав? Нельзя же мазать всех одной чёрной краской. С этим я не соглашусь никогда.

– Ах, вы изволите не соглашаться. Настаиваете? Я расслышал намёк на безупречность, тогда скажите, у кого она есть? Поразительно. Признателен вам за откровенность. – Прокуратор постучал чайной ложечкой по блюдцу, словно привлекая внимание ещё кого-то, кого в комнате не было. – Замечу, Он точно так же говорил. В минуты отдыха я мог любоваться людьми, когда они пели и танцевали. Посещал мастерские скульпторов, когда они высекали из мрамора великолепные статуи богов и героев, украшавшие храмы и дворцы. Бывало, я видел, каким взором, полным любви и отчаяния, мать смотрит на своего первенца, и это трогало моё сердце.

Когда-то я слышал старинную историю, дошедшую из земель, лежащих за горой Меру, о том, что и наш мир был создан Богом в минуту безудержного веселья. Выходит, Создателю многое человеческое не чуждо было. И тогда я вспоминал Его.

– Его самого, Йешуа? – с пылом воскликнул Бекетов.

– Да, именно, Йешуа. Ночью Синедрион осудил Его при стечении многих горожан. Они словно сошли с ума от радости, а утром связанного, под надзором храмовых стражников, вооружённых деревянными дубинками, привели Его к моему дворцу. Пришёл и сам первосвященник Киафа. Все уверяли меня, что Он смутьян и подстрекатель. Там были многие, в том числе те, кто приходил на гору слушать его проповеди, и те, кого он исцелил от падучей болезни, помог встать на ноги и забыть про костыли. Он делал всё, чтобы помочь им. И что же? Не нашлось ни одного, кто бы среди этого крика и выражения ненависти поднял свой голос в Его защиту. Я спрашиваю: почему? Что заставляет людей платить неблагодарностью за добро. Их учат – они не учатся. Им показывают чудеса – они в них не верят, их исцеляют – они платят чёрной неблагодарностью. Таковы люди, так они созданы.

– Мой вывод горек. – Пилат достал из кармана то ли требник, то ли записную книжку в затёртом кожаном переплёте и, слюнявя палец, принялся перелистывать исписанные страницы, пока не нашёл искомое: – На исходе лет, осмысливая прожитое, я сделал такую пометку: «Господь дал человеку свободу выбора, чтобы тот имел возможность делать ошибки. Богу не нужен безгрешный человек, иначе как он узнает, что перед ним действительно Его создание с душой и телом, а не безупречный механический автомат. Наши прегрешения есть всего лишь посылка для того, чтобы заняться их исправлениями. К добру всегда прилагается зло, и лишь так мы узнаем, что такое добро. Вот и всё». По мне, откровенный грешник милее, чем скрытый праведник, так как первого я лучше понимаю. Вы разделяете моё мнение?

– Да. Возможно. Не знаю, не уверен, но скажите мне всё же: вы-то знали, что Йешуа ни в чём не виновен?

– Да, знал, и не только я один, но и царь Ирод Антипа лишь посмеялся над злобными наветами. Меня интересовал только один вопрос: почему Йешуа называл себя царём Иудейским? Он мне ответил на это: «Ты так сказал, и Моё царствие не отсюда, а ты имеешь власть надо Мною лишь по Его позволению». Он был Сыном Божьим, но это понять мне довелось много позже. Чем мог быть опасен для власти этот человек, который на неё не претендовал? Разве ему нужен земной престол? Нет. Он его презирал. Он хотел помочь людям, рассказывал о вечной жизни и не предлагал поклоняться Ему, а убеждал только верить во имя спасения самого человека. И что же? Людям всего этого было мало. Они видели чудеса, слышали Его слова, а потом смеялись и предавали их забвению.

– А где же были его последователи, ученики? Неужели они остались безучастны к его судьбе?

– Не думаю, но они были тогда только людьми, со своими слабостями, сомнениями, страхами, проводили время в дискуссиях и противоречиях. Что тут скажешь? Все мы умны задним умом. Но всё же слышал я, что во время ареста Христа Его ученик, Пётр, впоследствии принявший за Него мученическую смерть в Риме, своим мечом пытался отбиться от стражников. Йешуа был известен многим и ни от кого не скрывался. Он что, возглавлял конспиративную секту? Нет. Он ходил открыто, радуясь всему сущему и живому.

– Почему всё-таки Он, а не кто-то иной, почему только Он возбудил такое ожесточение и великий гнев Синедриона и народа, доверившегося своим священникам? Ведь много разных паломников и проповедников бродило тогда по Галилее и Иудее.

– У меня нет ответа, да и кто я такой, чтобы судить о таких сложных вопросах; но в своих размышлениях за долгий срок пребывания в «междумирье» я пришёл к выводу о том, что всё дело в слове. Полагаю, Киафа раньше других понял силу Его слова и по-человечески испугался, что утратит своё влияние. А возмутить народ – дело нехитрое. Достаточно с высоты своего сана

громогласно объявить о виновности обычного мирянина, и вам поверят. Несложно столкнуть камень с вершины горы, и он увлечёт за собой лавину. Я потом не раз пожалел о том, что в тот день, накануне Пасхи, приехал из любимой Кесарии в этот вечно беспокойный и бурлящий Иерусалим. Если бы не приехал, может быть, мне удалось бы избежать сопричастности к этому убийству.

Вновь обозначались звуки и шорохи, и что-то прошелестело в воздухе. При закрытых окнах повеяло таким свежим ветром, будто он долетел до Большой Садовой из далёкого взморья, напоённого запахом раскалённых пустынь Аравии и цветущих олив. Мигнула и притухла потолочная лампа, и Берестову вновь стало казаться, что перед ним сидит не скромный низенький человек в мятом костюме, а могущественный наместник покорённых территорий. Всё та же пурпурная туника-таларис, расшитая золотистыми пальметтами в форме пальмовых листьев и прикрытая белоснежной мантией. На ногах сандалии из мягкой кожи, украшенные серебряными стяжками, а главное, не обыденное лицо со скошенным подбородком, а чеканный профиль римского аристократа, которого окружают вышколенные легионеры в полной амуниции с короткими мечами-спата.

– Не вправе я судить ни вас, ни тех несчастных, которым потребовалась Его кровь и жуткая кончина на кресте, – тихо промолвил ярославский писатель. – Над вами дамокловым мечом висел рескрипт императора, повелевавший искоренять любую смуту в пределах зоны вашей ответственности, а те, забывшие свою совесть, что кричали о Его смерти, были простыми городскими ремесленниками и землепашцами. Что они видели в своей жизни, кроме стёртых в мозоли ладоней и сучковатого древка мотыги, которой рыхлили пересушенную землю в надежде, что уберегут от злого суховея нежные ростки пшеницы. Я знаю силу толпы, в которой даже смелый становится робким, а самый принципиальный легко меняет свои взгляды. Что с них взять?

– Верно, – опять оживился прокуратор. – В словах Йешуа было мало антигосударственной крамолы. Он видел перед собой другую цель, о которой ещё не знали и не догадывались все эти люди. Он поразил меня своими словами о любви, о любви к человеку и о том, что только любовью может быть спасён этот мир, а человек заслужит наконец прощение за свою греховную земную жизнь и обретёт надежду на новую, небесную. Говорил, что без любви нет света ни на этом свете, ни на том. Как это просто и как невероятно сложно. Кто мог так ещё сказать, как не Сын Божий. Кесарь, философ, оратор на подиуме? Таких никогда и ни в какие времена не было. Он – первый. Вот что сделало Его нашим Спасителем. Я могу себе представить, что я люблю своих детей, люблю свою жену, и то до тех пор, пока она не изменила мне. Но чтобы вот так безотчётно любить всех людей – такого я даже представить себе не могу. А Он мог. Кто мог внушить Йешуа такую мысль? Отец, мать, люди, которые встретились Ему на пути? Нет, не верю. Тогда кто? Наверное, тот, кто мудрее и выше человека.

Я смотрел на бледное, осунувшееся лицо Йешуа и вспоминал слова моей драгоценной жены Валерии Прокулы, сказавшей: «Вины на Нём нет». Чтобы Йешуа проповедовал против римского императора? Такого я не слышал. Против священного Синедриона? Тоже нет. Может быть, говорил, что над всеми земными царями есть другой Царь? Так это не противоречило и римским взглядам на устройство мира. И у нас был свой Юпитер. За что мне было казнить Его? Чем могли угрожать величию Рима Его слова о смирении и прощении? И ещё. Разве Йешуа требовал возведения храмов в Его честь и поклонения Ему? Нет. Он только сказал: «Создайте храм в душе своей». Как я должен был поступить?

Я отпустил Его, а потом вновь арестовал: угроза восстания потерявшего чувство меры и сострадания населения была слишком велика. Надеялся на то, что мне удастся ограничиться лишь наказанием плетью, и потому дал Марку распоряжение ослабить силу ударов. Вы знаете, что такое удары кнутом с вплетёнными на концах чугунными звёздочками? Такие удары не просто рассекают тело, вырывая кусочки плоти. Страдальцу кажется, что у него отслаива-

ются все внутренние органы. Одного этого было бы достаточно для удовлетворения кровожадного воображения праздной черни. Но нет. Ничего не вышло. Увидев кровь на Его израненном теле, толпа возопила ещё сильнее, требуя большего. Её устраивала теперь только Его смерть на кресте. Вы бы посмотрели, господин Бекетов, на эти раскрытые в крике рты, горящие глаза и поднятые вверх кулаки. Даже мои легионеры хмурились и отводили глаза, а лишённый всякой сентиментальности Крысобой протянул Ему пиалу с поской, смесью воды с винным уксусом.

Одним словом, я откупился за сохранение своей должности Его кровью. Я давно признал – этот мой грех. Мог Его спасти, но не сделал этого. Читайте, испугался. И вот что. Не выходит у меня из памяти прощальный взгляд Йешуа, когда Его подхватили под руки легионеры, чтобы подвергнуть дальнейшим экзекуциям по дороге на Голгофу. Милосердия для себя Он не вымаливал. Ни слова. Толпа возликовала. Не Его, Йешуа, готовилась она воспринять как своего кумира. Не того, кто добровольно принёс жертву во спасение народа, а скорее вора и убийцу Вараву, потому что этот преступник был ей ближе и понятнее, чем Он со своими странными увещаниями. Что хотел Он мне сказать на прощание? О чём предупредить? Йешуа смутил мой разум и разбудил мою душу.

А теперь скажите мне, господин Берестов, только честно скажите: а как бы вы поступили, окажись вы на моём месте? Пошли бы на риск сберечь одного человека, а на сотни других направить тяжеловооружённую конницу, которая растоптала бы в кровь многих из них? Отважились бы принять последствие – неизбежный мятеж, долгий и неуправляемый? И ещё больше крови, больше жертв. Как вы бы поступили, зная об ожидающих вас и этот святой город безумствах? Согласились бы разменять сотни жизней за одну Его. И главное: принял бы Он такое спасение?

Не уверяйте меня в том, что эти события произошли давно, во времена варварства и бескультурья. Я в курсе того, уважаемый господин Берестов, что в ваше время ваш ОМОН дубинками работает не хуже моих легионеров. Более того, случись Нагорная проповедь в ваше время, её бы разобрали на репризы для какого-нибудь КВН из провинциального университета. Меняется всё, а люди нет. И у вас есть свой мальчик, который живёт на городской свалке и радуется приезду каждого мусоровоза, чтобы покопаться в вываленных отбросах. Авось повезёт и ему улыбнётся удача найти сломанную игрушку и недоеденный кусок колбасы. Разве не так?

Максим поперхнулся. Он не был готов к такому вопросу и теперь пытался выиграть время для того, чтобы подобрать для ответа приличествующие слова. Не поднимая глаз на собеседника, он потянулся за кубком с фолернским и стал жадно пить его. Вино немного взбодрило его и придало смелости.

– Не знаю, ей-богу, не знаю. Одно знаю: я не хотел бы быть на вашем месте ни тогда, ни сейчас.

– Вот все вы такие, с кем ни поговори, – грустно усмехнулся Пилат. – Вот что я вам скажу, молодой человек. А скажу то, что я ещё никому не говорил. Он искал смерти, стремился к ней. Я не видел никогда подобного человека, который был бы столь угнетён одной лишь мыслью, которая терзала и мучила Его. Мысль о том, что люди не верят Ему, была для Него непереносима. На словах да, иногда они соглашались, а распрощавшись с Ним, забывали о своих обещаниях и пересказывали Его чудеса со смехом. Прощая всех и каждого, Он уповал лишь на одно великое чудо – дар воскрешения, который готов был преподнести всем живущим на этой земле, с тем чтобы внести умиротворение в их искорёженные души и дать радость общения к своему Создателю. Как и все, Йешуа обладал живой, трепещущей плотью и страшился ожидавшей Его экзекуции. Разве Он не был молод в 33 года? Разве не мечтал о доме, семье и детях? Всё было отринуто Им во имя спасения других.

– Тогда выходит, что клятвоотступник Иуда Искариот... – Берестов не решился договорить фразу, которая могла оказаться ошибочной и неуместной со всех точек зрения.

– Да, да. Это именно так. Я догадался, о чём вы подумали, – без тени улыбки продолжил свои рассуждения прокуратор. – Эта мысль и меня не раз посещала, пугая своей парадоксальностью. Сознательно или нет, но Иуда способствовал реализации этого замысла. Нуждался ли он в 30 серебряниках? Не уверен. Что на них купишь: вола или воз сена? Мои дознаватели подтверждают, что Иуда был весьма состоятельным человеком и, кроме того, заведовал казной своего Учителя и не был замечен, как сейчас говорят, в «финансовых нарушениях». Руководствовался ли он чувством зависти, жадой лидерства? Вряд ли. Не слышал я об этом. По крайней мере, Йешуа ни разу не упрекнул его в строптивости и несогласии, как многих других своих учеников. Зная наперёд о мыслях ближних и всего человечества, Он не препятствовал свершению величайшего замысла. Так мне хотелось бы думать.

– А простил ли Иисус Иуду? – Максим надеялся, что этот вопрос будет последним в затянувшейся беседе с призраком. Слишком тяжелы оказались для него вопросы мироздания.

– Надеюсь, что простил, понимая, какую неподъёмную ношу тот взял на себя – ношу вечного проклятия. Через Иисуса Христа человек увидел Бога, через Иуду Искариота – самого себя. Простите, господин Берестов, но своими расспросами об Иуде вы утомили меня. История раз и навсегда определила ему место. Винават ли он или невиновен, поверьте, в нынешнее время этот вопрос никого не интересует. Принял ли он на себя роль добровольной жертвы, оттенив подвиг Спасителя, или на деле оказался коварным злоумышленником – это, право, через столько лет всё равно.

– А вас Он простил? – не сдержавшись, поинтересовался писатель, одновременно укоряя себя за настырное любопытство.

– Меня? – спокойным тоном переспросил Пилат. – После смерти Йешуа на меня посыпались несчастья: доносы, неурожаи в провинции, низкие сборы налогов. Новый император невзлюбил меня и лишил всех должностей, оставив только возможность умереть на поле боя. Я вставал в первые ряды легионеров и первым же бросался в атаку.

– Значит, вы искали смерти?

– Может быть. Всё было напрасно. Я не был даже ранен. И как логичное завершение всех моих несчастий был коварно убит ночью в своей же походной палатке в Галлии, а моё тело безымянным брошено в Рону. Скорее, я пытался бежать от самого себя. С Его уходом жизнь моя была отравлена подлостью и предательством. Остальное вы знаете. Он не забыл меня и вывел из темноты к свету, а заодно дал наказ написать книгу «О любви к ближнему», то есть к любому и каждому. Вот я и пишу день за днём, две тысячи лет, и совладать с темой пока что не могу. Как это – возлюбить ближнего как самого себя? Даст Бог, придёт время, и я справлюсь с задачей и царствие Его заслужу. Думаю, что Йешуа меня давно простил, сразу, в тот же последний день. По-другому Он не мыслил. А вот выше, выходит, рассудили иначе. Вот я и жду, когда разрешат попасть туда, куда все стремятся. Мне осталось только надеяться. И я всё ещё надеюсь.

– Это куда попасть?

– Как куда? – удивился Пилат. – Туда, в рай, конечно. Я же сказал вам – в царствие Его.

Прокуратор замолчал и уставился в задёрнутый шторами оконный проём, будто надеялся через него разглядеть догорающее ночное святило.

– Почему в моё время так мало святых? – очень тихо промолвил Берестов и перевёл дух. Явно, что вопрос предназначался для себя самого, а не для бывшего наместника Иудеи, но Пилат услышал.

– А потому, дорогой мой гость, что чем ближе к концу времён, тем меньше праведников. После Христа их было много. Вера была свежа, и велика была надежда на выправление двойственной природы человека. Силён бес в душе его. Слаб и злобен человек и не может отрешиться от своей черноты, – прозвучал ответ. – Вы приходили к нам за советом, господин Берестов? Так вот что я вам скажу на прощанье: пишите и не сомневайтесь, а ещё – не ищите в этой жизни

злата и славы, иначе всё обернётся прахом и забвением во мраке безвременья. Всегда помните, что современный человек создал себе худший из существующих миров и заключил себя в его облик, в котором нет слова и смысла, а есть лишь технологии и деньги. Он идёт по этому пути, и каждый шаг отдаляет его от самого себя. И всё же вы пишете, пишете о той весте, которую подаёт вам ваше сердце. Те немногие, сохранившие себя, услышат вас. Ещё вот что учтите: потребность очищения души своей вы ощутите только тогда, когда окончательно возненавидите этот мир... Однако мы заговорились. Благодарю вас за беседу. Лично мне она доставила, поверьте, редкое удовольствие. Надеюсь, вам тоже. Пора расставаться – рассвет скоро.

Максим встал со своего дивана, подошёл к зашторенному окну и раздвинул портьеры. Ночное небо, сжатое крышами домов, уже посерело.

– Прощайте, – прошелестел тихий голос.

Берестов обернулся. В комнате никого не было, исчезли также блюдо с фруктами и кувшины с вином и бокалами. Не было даже роскошного дивана, на котором он недавно сидел. Вместо него у стены стоял обыкновенный табурет с подломленными ножками.

Максим вышел в коридор и прошёл в прихожую, по пути заглядывая в каждую комнату. Никого в квартире не было: ни Михаила Афанасьевича, ни даже Аполлинария Ксенофонтовича с кошачьей улыбкой. Входная дверь была не заперта. Писатель вышел и осторожно закрыл её за собой, услышав напоследок, как щёлкнул замочный ригель и кто-то вслед ему насмешливо хмыкнул, а может быть, хрюкнул. Установить источник происхождения звука так и не представилось возможным.

Через час Максим сидел в поезде «Москва – Ярославль». За окном просыпалась неяркая подмосковная природа; вагон, как обычно, стонал и охал на стыках; через проход между сиденьями чей-то плеер мурлыкал песенку Bee Gees – How deep is your love.

Теперь Берестов знал, что будет делать – он будет писать. Писать о людях: об их делах и страстях, радостях и огорчениях и о том хорошем, что в них есть. Ведь Он, Спаситель, поверил в человека!

*Январь 2018 года*

## Ветеран

Очередной наступивший год начинал свой медленный разбег. Снег, которого не было весь ноябрь и декабрь, теперь сыпал и сыпал безостановочно, чтобы сугробами прикрыть грязные лужи, доставшиеся ему в наследство от минувшей осени. Под его белыми шапками уже просели лапы огромных новогодних елей, расставленных по главным столичным площадям, а многие московские крыши с трудом приняли на себя ледяную ношу, стараясь замаскировать ею летние недоработки кровельщиков и цветовую чересполосицу маляров. Большой город приободрился. На бульвары и парки выкатился повеселевший народ, чтобы развлечь себя поеданием французских булочек с вставленными в них кривыми сочными сосисками с подпечёнными боками, сопроводив их парой бутылок баварского пива или несколькими чашечками дешёвого кофе в вощёных бумажных стаканчиках.

На деревьях и контурах из металлических стоек переливалась праздничная иллюминация. Спрятанные в нишах общепитовских киосков динамики надрывались, изливая из чёрного нутра бравурную музыку. Всё свидетельствовало о том, что январские дни отдохновения ещё не закончились, а потому остаётся ещё возможность соскрести с души разочарования прошлого года. Стоит только добавить к уже взвинченному настроению одну-другую бутылку водки, пьяные поцелуи и вздорные уверения о том, что на горизонте уже обозначились приличные деньги, которые непременно изменят жизнь семьи-подруги к лучшему. Но так говорится вечером.

А сейчас был полдень – время тишины по причине того, что полуобморочный похмельный сон ещё не закончился. Затянувшееся состояние нетревожного забытья было характерно лишь для молодого поколения семьи Ивановых, а вот Семёну Михайловичу не спалось. Он рано ложился в постель и рано вставал. Так было установлено давно, с тех пор когда однажды сделал для себя неприятное открытие, что руки, которые всю жизнь кормили его жену и детей, вдруг перестали повиноваться ему.

Однажды, перевернув очередной листок календаря, Семён Михайлович понял, что старость подступила к нему быстро, пробив болевыми синдромами все суставы и части прежде сильного тела. Он долго не соглашался с тем, что теперь каждый шаг нужно было совершать с оглядкой, и по привычке продолжал делать всю мелкую работу по дому: подкрутить гайку, чтобы убрать протечку в смесителе, заменить почерневшую выгоревшую проводку или перебрать заскрипевшие половицы, – одним словом, всё то, что мог сделать только он один, так как у его единственного сына были новые взгляды на смысл бытия, в которых хмельной дурман занимал привилегированное место. Пил сын, пила его жена, резвились как хотели подрастающие дети – его внуки. Что скажешь мужику, разменявшему свои пятьдесят и кочующему с одного случайного заработка на другой?

Семён Михайлович вышел из своей комнаты, беззвучно прикрыв за собой дверь. Он боялся неловким движением, случайно вызванным громким звуком разбудить других обитателей квартиры, в которой давно уже чувствовал себя не хозяином, а скорее приживалкой, пережившей своё поколение. А главная его вина состояла в том, что он всё ещё занимал драгоценные десять квадратных метров, которые он как нужны были людям, коих он по привычке продолжал считать своими родственниками.

В сорок пятом солдат Иванов вернулся в родную Москву из тех мест, которые другие, никогда не вдыхавшие в себя кислото-горький запах перегревшихся оружейных стволов, называли полями героических сражений. С собой из Германии Семён Михайлович привёз трофейные наручные часы с разбитым циферблатом да стальной осколок, удачно застрявший под грудиной, о котором врачи сказали, что его лучше не трогать. Память берегла ветерана и особенно не тревожила воспоминаниями. Из четырёхлетнего грохота войны ему почему-то

больше вспоминался лишь подпрыгивающий от выстрелов лафет «сорокапятки», из которой он гнал снаряд за снарядом под орудийные башни немецких танков. Ну, может быть, ещё вой фугасных бомб, которые сваливались из-под крыльев «лапотников», когда контуженным лежал на бруствере полуразрушенного окопа лицом вверх, не зная, на месте ли у него ноги и руки, и глядел незакрывающимися глазами в высокое синее небо, в котором весёлой каруселью кружились пикирующие бомбардировщики.

А когда настал светлый день, сержант Иванов стоял на маленькой булыжной площади незнакомого немецкого городка в передней шеренге парадного построения. Роскошествовало весеннее солнце, и слабо поблёскивали на груди покрывшиеся патиной за годы войны боевые медали и орден Славы третьей степени. И только одна медаль, рождённая на развалинах поверженного Рейхстага, новёхонькая и щёгольская, как хромовые сапоги новоиспечённого лейтенанта, сияла как путеводная звезда – «За победу над Германией». Командир полка сжатой в кулак рукой чертил перед собой зигзаги и трубным голосом выхаркивал: «Мы победили... Мы дошли... Несмотря ни на что... Слава Сталину и родной партии!» Все, кто стоял, и все, кто смотрел, верили ему, потому что он был свой и потому что у него не было левой руки. И поэтому как один орал: «Ура!» Орал и Семён, напрягаясь, чтобы растянуть в радостную улыбку, казалось, навек окаменевшие губы.

А вечером пили, потому что можно было, потому что нужно было пить, потому что это был их день. Балагурили и много пили очень молодые и очень пожилые из последнего, осеннего призыва. Рассказывали байки, раздували свои подвиги, обнимались и поздравляли друг друга. От этого было хорошо. Это было их право – на всех вечно лёг земляной загар военных дорог.

Семён мало пил, много курил, иногда мозолистой ладонью проводил по жёсткой щетине. Ему казалось, что к щеке прилип шлепок окопной грязи, и тогда в уголках, сжатых вечным прищуром глаз, копились горячие росы. Так же хмуро молчали ещё двое с узкими лицами, затянутыми пергаментной кожей, с худой шеей и выпертым кадыком, неопределённого возраста, то ли тридцать, то ли шестьдесят. Пепельно-багровая печать сорок первого года выжгла их глухо ворочавшиеся сердца.

Осторожно передвигая по полу искорёженные артритом ноги в фетровых тапочках, Семён Михайлович прошёл по коридору мимо двери, за которой слышался солидарный храп двух глоток, – это была спальня сына и невестки; мимо третьей двери, из-за которой уже доносилось повизгивание просыпающегося молодого поколения, и наконец добрался до ненасытного чрева кухни. Груда сваленных в мойку невымытых тарелок, остатки дешёвой закуски на столе в окружении пустых бутылок и недопитых рюмок с водкой и портвейном свидетельствовали только об одном – что здесь несколько дней творился праздник по случаю недавнего Рождества.

Налив из-под крана холодной воды в крашеный металлический кувшин с обколотым верхом, Семён Михайлович заторопился назад в свою комнату. Он не должен мешать молодым и сильным своим присутствием. А в комнатке у него есть электрическая плитка, чтобы вскипятить воду и сделать себе чай, и нераскрытая пачка сладкого печенья «Юбилейное», которое можно быстро размочить в кипятке, а то и разгрызть своими несколькими ещё сохранившимися зубами.

В этой комнате ему было хорошо. Здесь можно было сидеть или лежать на завершающем свой век заслуженном диване или переместиться за стол, чтобы в который раз перелистывать альбом с матерчатой обложкой и рассматривать пожелтевшие от времени фотографии, на которых он был ещё молод и обнимал свою жену и держал на руках маленького сына.

Свою Надю Семён встретил в том же победном и хмельном сорок пятом, когда вызрели красные гроздья рябины и первый снег по утрам уже пытался прикрывать притихшие в осенней задумчивости деревья. Она сразу понравилась ему – заводная фабричная девчонка с открытым и таким беззаботным взглядом, как будто и не было военного лихолетья и хлебных карточек.

Он ещё помнил слова любви, когда предвоенной весной встретил ту самую, первую, с пшеничным запахом светло-русых волос, которая поверила ему и отдала всю себя, ту, которая, не отпуская, держала его за руку и не отводила от него синих глаз, будто намеривалась оттащить от того из досок с соломой и лавками вагона воинского эшелона. И, как в бреду, всё говорила и говорила ему:

– Только вернись. Прошу тебя. Мне ничего не надо. Вернись с этой проклятой войны.

Он выжил, а в сорок втором получил письмо с вестью о том, что нет больше на этом свете светло-русых волос и синих глаз, потому что бомбовый удар по маленькому мирному посёлку был точен и там, где была жизнь, теперь лишь заполненные талой водой воронки и бесформенные груды кирпичей.

Семён вернулся к мирной жизни, но самых нужных слов уже не умел говорить и поэтому мог только гладить Надю по волосам и крепко прижимать её к своему сердцу. Она понимала его и, не колеблясь, привела в эту квартиру в Замоскворечье, где жили она и её родители и ещё много других людей. Он отогрелся около её тёплой души и пошёл на работу, где начал размешивать бетон и научился класть кирпичи, потому что строить надо было много. Со временем назначили бригадиром и мастером и стали вручать грамоты за доблестный труд, говорить прониковенные слова и жать руку. Семён Михайловичу было приятно. Приятно от того, что он делает что-то хорошее для людей и они смотрят на него добрым взглядом, а самое главное то, что он был одним из них.

Были годы, и были радости, а потом кто-то очень уверенный в себе и своих словах сказал, что прежде все жили неправильно и надо жить по-другому. Вначале Семён Михайлович не понял, чем он провинился перед страной, а потом увидел, как погас задорный огонёк в глазах той, которая стала частью него самого, и не услышал привычного «Доброе утро, Сеня». Он долго сидел рядом, глядя на прикрытый чистой простыней силуэт, и вновь растирал на щеке что-то влажное, давно забытое, выступившее из уголков его глаз.

Опять прошли годы, а с ними ушли силы, и из семьи ушло имя. Теперь от сына и его жены он уже не слышал, что его зовут Семён Михайлович, всё больше «дед», а потом вовсе «старик». Сын всё реже заходил в его комнату, и больше тогда, когда надо было узнать главное:

– Ну что, дед, пенсию получил?

Семён Михайлович молча вставал, шёл к шифоньеру со сбитой дверцей и доставал потёртую сберкнижку с вложенными в неё банкнотами, большую часть которых отдавал сыну.

Сын веселел и, хлопнув по плечу пожилого человека, бодрым голосом проговаривал:

– Молодец, дед. Держись. Ты нам ещё нужен.

И то правильно. Деньги нужны молодым, а старикам много ли надо?

Слово «отец» забылось, как и не было, а подраставшие внуки постепенно отучились прижиматься к его коленям и выпрашивать рассказы о прошедшей жизни. Невестка навещала его чаще других, и то в основном для того, чтобы ощупать колючим взглядом комнату. А с недавних пор и вовсе всё больше предпочитала просунуть в створку двери голову, чтобы, втянув через ноздри воздух, спросить:

– Как, старый, ещё не сопрел на своём диване? Задвошил всю квартиру.

Семён Михайлович молчал. Что он мог ответить? Что он мог сделать со своим возрастом? Бывшие некогда крепкими плечи выгнулись вперёд, сжав грудную клетку и согнув позвоночник. Голова всё больше смотрела вниз, а взгляд стал тусклым и безразличным. Что он мог ответить сильным и напористым, живущим по своим правилам и представлениям? Голос стал слабым и тонким. Как с таким отстоишь право на место в этой жизни?

Районный совет ветеранов не забывал его и к 9 Мая присылал очередную поздравительную открытку с дежурным прочувственным текстом и лиловым факсимиле подписи президента, откатанную в тираже на полиграфической машине. Они были ещё живы, эти укоры из прошлого, и новое государство чувствовало себя неудобно, зная об их молчаливых вопро-

сах. В этот день Семён Михайлович, вооружившись лупой, под светом старенькой настольной лампы с потрёпанным абажуром долго и старательно разбирал написанный текст и видел, что красочное послание адресовано именно ему и его в нём назвали «дорогим Семёном Михайловичем». Дочитав до конца, он минуту молчал, а потом почему-то опять начинал растирать ладонью щёку.

В этот день Семён Михайлович всегда надевал чистую рубашку с большим отворотом, выглаженные синие брюки и старый серый пиджак от другого костюма, с навешанным на него набором немногочисленных наград, и, перебирая каждую, расправлял их. Осторожно и бережно. Одну за другой, одну за другой. На улице было празднично. Играла музыка, висели разноцветные флаги, а знакомые старушки, сидевшие на лавочке у подъезда, согласно, как полевые ромашки, кивали своими головками в затынутых платочках, приветствуя его. Он шёл среди незнакомых людей, видел их просветлевшие лица и радовался глазастой молодёжи, которая, разглядев среди толпы скромного ветерана, подбегала к нему, чтобы прикрепить к лацкану пиджака виньетку из георгиевской ленты.

Всегда, тогда и сейчас, он вспоминал ту единственную, которая провожала его до воинского эшелона, уходившего на фронт, и всё смотрела на него снизу вверх васильковыми глазами, до краёв полными слёз, а потом долго стояла на перроне и махала сорванным с шеи цветастым платком вслед уходящему навсегда составу.

А если он остался жив, если ему так повезло, как не должно было повезти, то только потому, что светлая душа её, до срока покинувшая нежное, не познавшее сладких мук материнства тело, вымолила у Божьей матери милости для него, чтобы выжил он посреди огненного смерча, потому что он хороший, чистый и смелый, и потому она любила его всем сердцем.

Так бывало весной, а сейчас властвовал студёный январь и мела снежная пороша, но Семён Михайлович всё же собрался на улицу. Может быть, он и не пошёл бы никуда в такой день и остался дома, в своей комнате, пить чай и слушать радио, но ночью его неотступно одолевал дурной сон. Этот сон снился ему редко, в разные дни и безо всякой определённой причины. Один и тот же и с одним и тем же незаконченным сюжетом. Во сне он всё порывался изменить его, напрягался всем телом, горячечно хрипел и мотал влажной головой – и не мог ничего сделать. Оттого, наверное, что сон приходил не из жизни, а из того снегового поля между ржевских лесов, где не осталось более луговых кочек и буераков, потому как сложились на них бесчисленные человеческие тела в солдатских гимнастёрках, чтобы дожидаться весенней поры, когда пройдут первые тёплые дожди, и дать силы пробивающейся сквозь перепревшие ремни и проржавевшие красноармейские звёзды новой зелёной поросли, новой траве и молодому орешнику, чтобы вместе с ними радоваться вешнему солнцу.

И поэтому, несмотря на мышечную слабость, захотелось Семёну Михайловичу выйти в город, оказаться среди людей и вдохнуть полной грудью морозный воздух, чтобы унять дрожь растревоженного сердца. С трудом просунул он руки в рукава зимнего пальто. Присел на скрипнувший всеми сочленениями разохшийся стул и, ухватившись разбухшими в суставах пальцами за застёжку фетровых ботинок, называемых в народе «мечта пенсионера», медленно, преодолевая сопротивление примитивного механизма, потянул её к себе.

Хорошее пальто было у Семёна Михайловича: драповое, с барашковым воротником и длинное, гораздо ниже колен. Никакая злая выюга не могла справиться с ним. Грело и оберегало оно своего владельца в самые холодные месяцы. Вот только подкладка стала расползаться по швам да воротник по краям растрепался. Хорошее пальто подобрала Надя своему Семёну лет пятьдесят назад. Знаменитой фабрики «Большевичка». Радостно было в тот день на душе у обоих, когда они пошли в знаменитый магазин одежды, что располагался у самой Красной площади. Оценили люди работу передовика производства: назначили мастером участка и выдали денежную премию, на которую он с женой и пошёл покупать своё пальто.

Но не поэтому хотел Семён Михайлович попасть на Красную площадь, не для того собрался он в дальний путь, чтобы пройтись по местам своей прежней жизни, по которым когда-то гулял с женой и сыном. Сон, тяжёлый сон, который он не хотел бы видеть, навестил его и позвал в дорогу. Пусть на улице непогода и наледь кругом, а трость с резиновым накопчиком выворачивается из рук через шаг, – он всё равно дойдёт, доедет туда, где в ноябре безрадостного сорок первого года стоял в однотипной серой шеренге.

Ещё не было бархатных штандартов с названиями фронтов, ещё не взревели моторами грозные колонны опалённой пороховым дымом могучей техники, ещё не заблестели на плечах офицеров золотые погоны, а нарядная знаменная группа не вынесла во главу парада простреленное знамя Великой Победы.

Но перетянутый ремнём ватник уже согрел грудь. Ноги в утолщённых штанах, заправленных в бесформенные валенки, старались чётко держать строй, а руки в безразмерных рукавицах крепко обхватили приклад и ствол выставленной перед собой винтовки с примкнутым штыком. «Батальоны, шагом марш, равнение на Мавзолей». Теперь всё ясно. Сомнений больше нет. Сознание уже научилось думать, что это наше дело и «дело наше правое».

Вот он, зев Красной площади, щедро присыпанной новогодним снежком. Сколько пафосных речей замёрзло в её воздухе, сколько пламенных призывов прозвучало, сколько дано невероятных обещаний под ответные клики воодушевлённого народа! Немало рьяных вершителей человеческих судеб повидала она; многие взбирались на её могучие плечи, чтобы самонадеянно обозревать вечность и бесконечные пространства великой страны.

Слегка припадая на правую ногу, Семён Михайлович подошёл к Историческому музею. Здесь тогда стоял и он, в напряжённой тишине вслушиваясь в звонкие выкрики команд. А когда раздался глухой топот сотен ног, пошёл и он, чтобы метр за метром идти дальше, чтобы метр за метром ползти вперёд.

Постояв с полчаса и вдоволь надышавшись свежим воздухом, Семён Михайлович почувствовал себя лучше. Остатки ночного кошмара больше не донимали его. Решив передохнуть перед обратной дорогой, он развернулся и пошёл в сторону Никольской улицы. Какой она стала красавицей. Принарядилась в гранитную мостовую, выкрасила фасады домов и, несмотря на полдень, продолжала радовать глаз праздничной световой иллюминацией.

Вот и лавочка. Очень занятая лавочка, запорошённая снежными блёстками, с сидящей на ней одинокой фигурой незнакомого человека. Издалека этот человек мог бы показаться обычным прохожим, погружённым в свои мысли, но, подойдя ближе, Семён Михайлович с удивлением разглядел в нём облик генералиссимуса. Незнакомец был одет в парадную форму вождя народов: шинель из добротного сукна, брюки с красной лампасной полосой и фуражка с приземистой тульёй. Но главное лицо – непередаваемое и узнаваемое на все времена лицо Сталина.

Семён Михайлович невольно ощутил в груди лёгкое волнение.

– Добрый день, – осторожно произнёс он. – Вы очень похожи на него. Извините, я не потревожил вас?

– Нет, ничего, – ответил человек в генеральской шинели. – Может быть, вы хотите сфотографироваться со мной?

– Я? Не знаю. – Старый ветеран явно был смущён прозвучавшим предложением. – Я хотел просто отдохнуть на лавочке.

– А-а, – разочарованно прозвучал голос, – тогда садитесь. Места много, всем хватит.

Раздув снежинки и протерев заледеневшее сиденье перчаткой, Семён Михайлович прилепился к краю скамейки, подальше от человека, одетого Сталиным.

– А вы, должно быть, актёр, раз такую роль изображаете? – с оглядкой, будто он прошупывал палкой тонкий лёд на быстротечной речке, поинтересовался ветеран.

– Можно и так сказать. – У ряженого Сталина наклеенные брови заходили вверх-вниз. – И роль я никакую не изображаю, понимаете? Это образ, образ такой. Я здесь, у ГУМа, а Ильич там, у памятника Жукову. С кем-то фотографируется. Это работа такая. Понимаете меня?

– Да, да. Конечно, понимаю, – поспешил успокоить актёра старик. – Это очень хорошо. Я тоже помню товарища Сталина. Я жил при нём.

– Вот как? – Латексный нос с чёрными усами повернулся в сторону ветерана. – Выходит, вам немало лет, раз вы жили в то время?

– Немало, под девяносто будет, – сухим кашлем отозвался Семён Михайлович.

– Так сразу и не скажешь. Вы хорошо выглядите для своего возраста, – приободрил его уличный актёр, которому явно хотелось с кем-то поговорить в этот «пустой» день.

«Если что сегодня и перепадёт, то не раньше вечера, – решил он про себя, – когда проспавшиеся горожане подтянутся».

– А как вас зовут, уважаемый? – громко спросил уличный затейник.

– Меня? – Неожиданный вопрос смутил ветерана. – Меня – Семён Михайлович. Иванов Семён Михайлович. А как вас величать? – прозвучал закономерный вопрос.

– Меня? Хороший вопрос, – усмехнулся актёр. – А как бы вы хотели? Можете Иосифом Виссарионовичем, можете товарищем Сталиным или просто – маршалом. Как вам удобней, так и называйте.

– Может, я не то что-то спросил? Так вы уж не обессудьте. – Трудно теперь давался Семёну Михайловичу разговор с другими людьми. Преклонные лета отобрали прежнюю крепость духа и уверенность в себе, а мерзость ежедневного быта заронила в его душу чувство неизбывной вины за всё и перед каждым.

– Ну-ну, не тушуйтесь, – покровительственно промолвил актёр. – Это я ведь так, здесь, на улице Сталин, а на самом деле обычный человек.

Семён Михайлович рад был услышать нормальную культурную речь. Давно с ним так никто не разговаривал.

– А что вам нравится в вашей профессии? – решился он на вопрос.

– Необычный вопрос. Не ожидал, а впрочем, почему, вполне естественный. – Актёр снял фуражку и резким движением стряхнул собравшийся на ней снег. – Доходец какой-никакой даёт. Публика подходит. Особенно любят со мной фотографироваться китайцы и наши из провинции. Москвичи – редко. В летний сезон скучать не приходится, да и сейчас на Новый год турист подъехал. Образ у меня, видите ли, особый – яркий, запоминающийся. Привлекает людей. Уж вы-то, Семён Михайлович, это знаете. Сколько раз небось по этой площади перед ним с плакатом проходили.

– Проходил, – согласно мотнул головой старик, – и не только с плакатом, но и с винтовкой, в ноябре сорок первого.

– Вот вы какой? – протянул актёр. – Так я вам скажу, вы заслуженный человек, Семён Михайлович. Хлебнули лиха, значит.

– Было дело, – согласился ветеран. – Все тогда Родину защищали.

– Все, да не все, – возразил человек в форме советского генералиссимуса. – Разные были.

– Да, всякие люди были, но дело мы своё сделали, товарищ Сталин, – окрепшим голосом отозвался ветеран. – А вот вы мне скажите. Сейчас в каком времени мы живём?

– В своём времени живём. А в каком же ещё? – удивился актёр. – А если вы намекаете на сравнение, то для меня очевидно вот что. Тогда была большая страна, большие дела и большие люди.

– А сейчас? – настаивал Семён Михайлович.

– А что сейчас? Живём как можем. Страны прежней нет, территория вдвое скукожилась, и народец другой пошёл. Сейчас родина у всех разная. Одна у тех, кто на Рублёвке и в Лондоне. Другая – в протекающих домах и покосившихся бараках. Так я понимаю.

– И что, это надолго, товарищ маршал?

– Конечно, надолго. Кто бы сомневался. Ради чего перевернули всё? Вот ради этого самого. Конечно, надолго. А скажите мне, уважаемый ветеран, вы-то в ваше время могли представить себе подобное? Неужели вас, Семён Михайлович, сейчас ещё тревожит всё, что вы видите вокруг себя?

– Не знаю. Тогда мы другую родину защищали. А что сейчас? Не понимаю я этого. В те времена разное было, и разное нам говорили – но мы верили и продолжали строить своё будущее. Страной гордились, потому что было чем гордиться. Не было ей равной на всём белом свете. Тогда были одни люди, сейчас другие. Прошло моё время, – устало проговорил старый ветеран и, не задавая больше никаких вопросов, стал наблюдать, как недалеко от него прыгающая на снегу хитрющая ворона гоняла клювом пустую красную банку из-под «Кока-Колы».

Разговор утомил его. Снег продолжал сыпать сверху, всё плотнее укутывая белым покрывалом и Красную площадь, и прилегающие улицы.

– Так я пойду, – нарушил затянувшееся молчание Сталин-актёр. – Мне уже пора. Вон группа туристов появилась. Всего вам доброго, Семён Михайлович. Даст Бог, увидимся.

Ничего не ответил задремавший ветеран. В потеплевшей голове вновь стали раскручиваться недавние ночные виденья.

...Опять перед глазами унылый октябрь сорок третьего года и стекающая к безымянной речке луговина. В тот месяц он из наводчика противотанкового орудия стал пехотинцем. Просмотрел его расчёт бронированное чудовище, не заметил, как немецкий танк подобрался к ним с фланга и, довольно урча от безнаказанности, принялся перемалывать людей вместе с их «сорокапяткой». Теперь он в составе стрелковой роты, которая уже дважды бросалась в атаку на эту проклятую высоту и дважды откатывалась назад, отплёвываясь огнём и залиывая свои раны. Хорошо поставили немцы свой дот: как раз на косогоре, на два метра выше позиций стрелков. Чисто выбривал землю его пулемёт, не подпуская к себе ближе чем на сто метров.

– Вот что Иванов, – сказал ему политрук, выгребая ладонью из-под ворота шинели скопившиеся дождевые капли. – Положение такое: в роте осталась только треть боеспособных бойцов, многие из которых контужены. Надо заткнуть глотку этому фрицу. Сейчас самое время. Сумерки, и с речки туман подтянуло. Нам это на руку. Берём по связке гранат и ползём вдвоём. Дот прикрыт колючей проволокой, но перед ним метров за пятнадцать есть ложбинка. Она кроет. Нам бы только до неё добраться, а оттуда докинем. Ты готов? Тогда вперёд.

«Вот она, родная земля. Пахучая, пряная, настоявшаяся за долгое жаркое лето. В который раз обнимаю я тебя своими руками. Дай мне защиту. Укрой от злого свинца». Метр, за ним ещё один. Нет за плечами вещевого мешка, нет и шинели. Нет даже винтовки с собой. Так легче, сноровистой ползти, слиться со складками местности. Растопыренные пальцы выгребают под себя размытую грязь вместе с пожухлой травой. Тихо вокруг, только одинокая иволга осмеливается выкрикивать что-то своё из прибрежных кустов.

Не надо торопиться. Рука-нога, попеременно, обтекая телом каждую кочку. Может быть, не увидят, а если увидят, то не сразу убьют. А сзади напряжённо смотрят глаза своих, подталкивая в спину: «Сделай, Семён. Уж ты постарайся, браток. Силы у нас на исходе».

«Вот и ложбинка, скоро. Я укроюсь в ней, как в колыбели. Передохну чуток и брошу эти гранаты».

Разом стукнули выстрелы. Вначале один, затем второй, третий. Потом слитно и рассыпью. Заметили. Справа впереди дёрнулся и застыл сапог политрука.

– Ты что, лейтенант, ранен? – Молчит. «Где его гранатная связка? Возьму её. Ничего, дотащу. Опять вперёд».

Вот она, родная ложбинка. Как хорошо в ней. Уютно. Здесь не достанут. Минами побоятся – свои рядом. Несколько раз глубоко вздохнуть. Речной воздух прочистит лёгкие. Лучше. Теперь что? Оттереть лицо, проморгаться запылёнными глазами и выдернуть чеку. Потом,

приподнявшись и опираясь на локоть, широко размахнуться и кинуть гранаты. Взрыв. Получилось. И получилось ли?

Враз огневые трассы рассекли тонкую туманную пелену. Ослепительными гирляндами зависли в небе разрывы ракетниц. Пулемёт в доте будто сошёл с ума и как бесноватый лихорадочно рассыпал во все стороны смертоносные припасы.

«Промах. Недолёт. Туго, ой туго. Свои не поддержат. Побоятся за меня. Хотя бы по флангам открыли отвлекающий фланговый огонь... Так, значит, я ещё целый. Руки, ноги, голова. Вот же она, передо мной, гранатная связка политрука. Ты одна у меня осталась, последняя, матушка. Только ты можешь спасти».

Что делать? Пятнадцать метров далеко для тяжёлых гранат. Тогда, может быть, вбок и вперёд, под самую проволоку? Если повезёт, конечно. Оттуда будет только десять метров. Потом привстать в полроста и прицельно бросить гранаты. Прямо в зловещую бетонную пасть. Ну что же? Время пришло. Унять дрожь в руках. Мыслей больше нет. На одном вздохе вперёд.

«Но что же это? Ведь я же дополз. Поднялся точно в тот момент, когда дуло пулемёта ушло в сторону. Колючие проволочные иглы рвут мне гимнастёрку вместе с кожей. Сковывают движения. Отчего же рука замерла на взмахе? Почему не летят гранаты? Сейчас раскроются их стальные перья, и не будет больше ни этого боя, ни меня самого. Почему мои глаза смотрят в чернеющее небо и не видят ничего, кроме занесённой и застывшей в воздухе руки? Что это со мной? Я ли это? Где я? И что это стекает с головы ко мне за шиворот? Пот? Кровь?!»

– Эй, отец, – раздался чей-то незнакомый голос. – Ты жив? Спишь, что ли?

Сквозь тяжёлую дрёму долетели до Семёна Михайловича спасительные слова. Он поднял голову, чувствуя, что кто-то настойчиво трясёт его за плечо.

– Ты что, снеговиком здесь работаешь, батя? – Перед ним, улыбаясь, стоял молодой парень в яркой цветной куртке с надписью «Россия» на груди. – Ты можешь встать? Смотри, тебя всего замело.

– Может, вам помочь? Скорую вызвать или до дома довести? – участливо поинтересовались подошедшие к скамейке другие молодые ребята и девушки.

– Спасибо, ребятки. Нет. Всё хорошо. Спасибо. Я сам смогу. Мне здесь недалеко.

Опираясь на свою трость, Семён Михайлович встал, с натугой разгибая заиндевевшее тело, и долгим взглядом окинул весёлую и беззаботную стайку молодёжи. Повернувшись и так до конца не стряхнув с себя налипший на него снег, он пошёл в сторону своего дома, провожаемый удивлёнными взглядами людей.

«Почему я вижу этот чудной сон? Почему он преследует меня все эти годы? Ведь в госпитале меня навестил комбат и сказал, что я выполнил задание и что мне даже положена награда. Выходит, я всё-таки бросил эти гранаты, а потом меня накрыл земляной вал. Или всё было не так? Ведь я ничего не помню».

На Москву опустился стеклянный вечер. Зажглась подсветка домов, заблестала разноцветными огнями развешанная на деревьях иллюминация, магазины выпятили свои оконные проёмы с неоновой рекламой. Никто уже не обращал внимания на одинокую согбенную фигуру человека, медленно удаляющуюся в темноту переулков, в сторону от праздничных улиц и магистралей, где с новой силой забурилась вечная, быстро всё забывающая жизнь.

*Февраль 2018 года*

## Казак

Тяжело навалившись рукой на перекошенную дверь лесной избушки, Егор вошёл в неё, стараясь не стукнуться каской о низкую притолоку. Внутри было теплее, чем снаружи. Вовсю топилась каменка-очажок, но толку от неё было немного. Из того жара, что выдавали её раскалившиеся стены, процентов семьдесят выветривалось сквозь плохо забитые сухим мхом пазы между брёвнами. Когда-то служившая местом стоянки охотников-промысловиков, избушка долгое время не видела человека – до тех пор, пока её в качестве временного убежища не облюбовала группа из десяти вальщиков леса, составлявших бригаду Егора.

– Мы вольные старатели, – любили говаривать поделщики Егора, что означало только одно – то, что они брались за вырубку леса в любое время и в любом месте. Бригада уже третий месяц корячилась в приморской тайге. Вначале расчищала делянку от непролазного валежника и вырубала мелколесье, и лишь потом приступила к валке вековых деревьев. Валили всё, что представляло деловой интерес: кедрач и лиственницу, липу и пихту. Подсечённые кривыми пильными зубьями лесные гиганты вначале раскачивались, не желая отрываться от родных корней, а затем грузно валились, подминая всё на своём пути. Рубчики накидывались на поверженного великана, стремясь побыстрее сбить с него раскидистые лапы ветвей и отсечь величавую крону. Быстрее, быстрее собрать в сортимент обглоданные хлысты и затащить на пэн, который трелёвочный трактор, натужившись и отхаркиваясь дизельными выхлопами, поволочёт на приёмо-сдаточный пункт.

Сзади злобно воют заждавшиеся бензиновые пилы, и вальщики нетерпеливо поглядывают на своих подручных. Пора – не задерживайте процесс. Дни стали короче, а впереди ещё много работы. Норма в тридцать кубов на человека – уже не норма. Сорок-пятьдесят – уже лучше. Бригада зарабатывает деньги. Ей недосуг подчищать за собой вторичную древесину – время не ждёт.

Егор уже много лет валил лес и многое знал о своей профессии. Тело его задубело на ветру и морозе и стало пригодным для любой непогоды. Мышцы превратились в один сплошной мускул и легко выдерживали даже тяготы ручного корчевания метровых пней. Неразговорчивые таёжные мужики долго присматривались к нему, оценивая характер и сноровку, пока не признали за своего и с этого момента всё больше предпочитали обращаться к нему как «Егор Иванович». Теперь они могли, не оглядываясь, доверять ему свою жизнь и свои деньги. Крепко помотался он по всему Зауралью. Вгрызался пилой и топором в горные кряжи Баргузина и «Кабанихи», мерил кирзовыми сапогами Абакан и Алдан. Пил водку на Усть-Куте и давил гнус на Хасане. Брал с собой только проверенных, доказавших, понимающих с полуслова, обтёсанных морозом и дождями, заросших бородой и волосами чалдонов.

Последний контракт не нравился Егору. Пришли «мутные» люди, наговорили, наобещали, уверили, что с фитопатологами всё согласовано. Лицензия есть. Заскакивали на делянку китайцы, нюхали свежие распилы, тёрлись щеками о ребристую кору лесных красавцев и восхищённо цокали языками – заждались, должно быть, русский лес на своей стороне Амура, чтобы располосовать его на доски и фанеру. Хорошо идёт торговля с Японией и Тайванем. Наварят на нём тысячу процентов чистогана, а то и более. А ты давай, режь без разбора, холости бездарно родную землю.

Сподобил его шустрый «хозяин» на авантюру, дал старые пилы и чихающий трактор, уболтал повести за собой в тайгу случайных бичей. Деньги, всё время деньги. Будь они прокляты. Да, нужны они Егору, очень нужны. Обещал он своей подруге, что купит для неё квартиру в чистом городе, женится как положено, а не как у остяков принято, и детей заведёт. Обещал ей, молодой и неопытной. Доверила она ему свою судьбу, а сибирское слово крепкое.

Не заладилась работа с самого начала. То ветер трепал и гнул к земле многовершие кроны, то тучи сползали с Синанчинского хребта и день-деньской поливали тайгу и людей холодными дождями и порошили первым снегом. «Убитые» бензопилы ревели, плохо пилили и часто глохли. Обляпанные жирной и сочной глиной сапоги быстро превращались в гири, скользили и не создавали необходимого для безопасной валки упора. Трактор вечно чихал, а лесовоз безнадежно буксовал в размытой колее. По ночам, тревожа «чёрных лесорубов», как заведённый ухал мохноногий сыч, и ревел в чаще, предчувствуя скорую зиму, амба.

Злая долюшка взялась и за самих людей. По неосторожности и неопытности провалился Клёпа в барсучью нору. Взвизгнув, вырвалась пила из пропила и прошла рядом с его бедовой головой. Повезло «счастливцу», пожалела лихая судьбина, оставив ему на память распоротую брезентовую куртку. И Митька не усмотрел, как повалилась тридцатиметровая сосна, обернулась вдоль своей оси, а потом, взлетев комлем чуть ли не до небес, приголубила зеваку-парня своим поцелуем.

От такого «апперкота» отключилось сознание, оставив лесоруба без сна и света. Уж третий день кряду недвижно лежит вальщик на своей лежанке в лесной сторожке, не ведая больше своего имени и не умея поднять ни руку, ни ногу.

– Как ты, Митя? – участливо спросил Егор своего подопечного и положил ладонь на его холодный лоб. По-хорошему, отправить бы бедолагу в райцентр, в больничку, так нет связи, и трейлер сидит уже который день всеми осями в грязи. И вертолёт не вызовешь, так как никто не должен знать, где мы находимся. «Может, оклемается парень? Может, свезёт ему, как не раз бывало? Все под Богом ходим».

Ничего не ответил Митька своему бригадиру. Даже не моргнул широко открытыми глазами; лишь раз беззвучно шевельнулись его губы.

Егор снял с каменки горячий металлический чайник, всыпал в алюминиевую кружку щепоть сухого чая, налил в неё кипяток и присел за обшарпанный стол. Молчал бригадир, думая о своём, машинально разгоняя в воде хороводы чаинок. Потом достал из кармана сложенное пополам и основательно засаленное письмо, развернул его и принялся уже в который раз разбирать неровные лиловые строки. Месяц как пришло оно к нему из тех мест, где долго цветёт багульник и тихо плещется у берега донская вода. Там его корни, там поколениями жили его предки.

«Дорогой мой сыночек, Егорушка, – писала ему родная тётка Дарья, – один ты у меня остался. Всё думаю о тебе: как ты там, на чужбине, у синего моря? Тяжко мне вот так одной свой век доживать. Всё больше хвори одолевать стали. Как-никак 90 лет с гаком минуло. Поумирали все из нашего рода. Вот только на тебя вся надежда и осталась. А сама я не знаю, зачем я воздухом ещё дышу. Дом, что твой дед построил, всё ещё хороший, а корова-кормилица и куры ухода требуют. Мне уже трудно одной и доить, и за курами ходить. Если бы не Нюрочка, дочка соседская, мне бы не справиться. Приезжай, родной. Посмотри на край родной, может, и к Нюрочке приглядишься. Без неё письмо бы этого я написать не смогла. Глаза уже не видят. Красивая она и на руку шустрая. В жёны тебе сгодится, а то ты, знаю, всё бобылём маешься. Негоже это. Горько мне будет, если на тебе весь род наш нечаевский закончится. Приезжай скорее. Боюсь, помру, не дождусь тебя».

Вновь сложил Егор тёткино письмо и долго держал его в руках, поглаживая пальцами. Жаль ему старуху, да дел много, держат они его своими путами. Ну как бросишь всё разом? Без него бригада денег не получит, и так «хозяин» два месяца ловчит и отнекивается. Давно не слышали мужики в карманах хруста своих кровных, заработанных.

– Вот управлюсь с контрактом – и поеду, проведу тётку. Поди, лет двадцать как её не видел.

\*\*\*

...Скорый поезд оторвался от перрона и, набирая скорость, помчался вперёд, оглашая свистом окрестные дали. Егор Нечаев болтался на верхней боковой полке плацкартного вагона. Он ехал в Москву, чтобы там, сменив вокзал и вагон, добраться до Ростова-на-Дону. Письмо тётки выбило его из привычной колеи. Кое-как закончив валку леса, он скомкал остальные дела и отправился в дальний путь.

Что-то давнее, основательно забытое выплыло из глубин памяти, отчего сильно защемило его сердце. Всё чаще Егора навещали странные сны, от которых становилось только хуже. За свою ещё недолгую жизнь он лишь раз, и то на два дня, съездил на Дон погостить у родственников – и так ничего толком не запомнил. Но во снах он видел большой одноэтажный дом, молодого отца, подпоясанного ремнём и в казацких шароварах с красными лампасами, и ещё очень юную мать с ребёнком на руках. Отец одной рукой держал под уздцы рыжего высоконогого коня с длиной гривой, а другой крепко сжимал жёсткую скребницу и оглаживал ею крутые бока своего скакуна. Отец о чём-то говорил, верно о хорошем, потому что мать улыбалась и тешила своего малыша. Это был не он, а какой-то другой мальчик, может быть, его старший брат, который так и не перенёс ссыльного вагона, когда всю семью после войны этапировали в Сибирь. Зря попал отец в немецкий плен, не поверила ему советская власть и направила в Магадан строить какую-то железную дорогу. Этот сон всегда был долгим, тягучим; от него перехватывало дыхание и липкими становились лоб и шея.

Для себя Егор решил, что в дороге будет в основном спать, всё-таки семь суток до столицы – срок немалый. С едой тоже решил не заморачиваться. Взял с собой только то, что навязала заботливая подруга: несколько банок консервов, хлеб, ну и конечно, санитарию: зубную щётку, бритву и такую диковину, как сухой шампунь, – справедливо полагая, что всё, что ему нужно, он купит на любой станции.

Намаявшееся на лесосеке тело жаждало отдыха, однако спать приходилось урывками. Пятьдесят четыре посадочные единицы не хотели просто так ехать, молчать и жевать копчёную курицу или омуля. Пассажирское стадо предпочитало горланить, пить пиво, доливая его водкой, играть в карты и кадрить случайных попутчиц.

– Эй, парень, ты спишь, что ли? Ты уже второй день с полки не слезишь. – Некто снизу решительно потряс Егора за плечо. – Присоединяйся к нам. Мы здесь водку пьём.

– Да не пью я. – Егор перевернулся лицом к говорившему.

– Как так не пьёшь? – опешил мужик с бородой и в растянутой майке, из которой вываливались заросшие шерстью плечи и жирная грудь. – Больной, что ли? Так мы тебя вылечим. Или проводниц боишься? Так мы с ними ещё от Владивостока всё сладили.

– По жизни не пью, – усмехнулся Нечаев. – Нет у меня такой привычки.

– Ну ты даёшь! – восхитился бородатый. – Первый раз такого вижу. Тогда тем более пойдём. Мы хоть на тебя подивимся. Просто чайку попьёшь Закуски у нас навалом. Давай, не тяни. Приглашаем. Уважь общество.

– Ладно, – откликнулся Егор. Ему действительно надоело лежать и разглядывать болтавшуюся рядом со своей головой ногу в рваном носке и с грязной голой пяткой, просунувшуюся с соседней полки.

Мужики из соседнего плацкартного «купе» оказались довольно смирными. Водку пили как положено, из чайных стаканов, вставленных в металлические подстаканники, а бутылки прятали под стол.

– Мы кочегары, – на правах знакомого пояснил бородатый Егору. – Котельную в нашем посёлке закрыли. Основной котёл, леший его задери, накрылся. Менять надо, а денег нет, и работы, значит, тоже нет. Вот едем в Новосибирск. Сказали, что там на ТЭЦ места для нас имеются.

– А жители как же? Зима впереди.

– Ничего. Выживут. Не впервой. Пообвыклись уже. Буржуйками через форточку топят. А ты чем на жизнь выколачиваешь?

– Я лесоруб. Кедрач валю.

– А-а-а, – синхронно протянули кочегары, уважительно оценив широкие запястья и кувалдоподобные ладони Нечаева, и пододвинули ему поближе тарелку с колбасными бутербродами.

Когда утром Егор проснулся, то ни его вчерашних приятелей, ни соседа с вонючими носками не было. Зато в Новосибирске вагон обновился наполовину, и на лежаках обосновалась новая шумная ватага. Напротив засели два хмурых мужика со сплошь разрисованными пальцами, которые ни с кем не разговаривали, а предпочитали подолгу смотреть в окно и безостановочно пили чай, заваривая по пять пакетиков в стакан. Видимо, ехали в Европу и хотели навсегда запечатлеть в памяти сибирскую тайгу, с которой срослись руками и духом за долгие пятнадцать лет.

Ближе к Нижнему Новгороду ночью Егор проснулся от сдавленного покашливания. Явно кто-то не мог справиться с перехватывающими горло спазмами и выворачивал желудок наизнанку. Нелегка доля допившихся до «белочки».

Спустившись с полки Нечаев направился в туалет, ловко уворачиваясь от болтавшихся ног и рук и стараясь не засматриваться на фривольно раскинувшиеся женские тела. Дверь тамбура оказалась закрытой, и из-за неё доносились чьё-то усердное сопенье и приглушённые стоны. Развернувшись, Егор побрёл в другой конец вагона, балансируя на бунтующей от быстрой езды ковровой дорожке. В полумраке ночников он увидел, как кто-то не спеша вытягивает из-под подушки его куртку, в которой он держал документы и деньги, отложенные на поездку. Не говоря ни слова, Егор подошёл к незнакомцу и сдвинул его плечо своими стальными пальцами. Поездной воришка охнул от боли, осел на пол и быстро-быстро на четвереньках помчался к выходу. Закончив ночную прогулку, Нечаев забрался на свою полку и смежил веки в надежде, что тот самый странный сон его больше не потревожит.

\*\*\*

Приветливо встречала Донская земля Егора. Докатилась и до неё золотая осенняя колесница. Тормознув попутку, дальневосточный таёжник теперь ехал на старом дребезжащем «зилке». Давно кончились городские пейзажи. Всё дальше уводила извилистая просёлочная дорога в широкие степные просторы. Всё ближе становилась станица Верхняя Тёплая, а за ней, что в пяти верстах, и хутор Безымянный.

Сквозь пыльное стекло кабины смотрел сибирский лесоруб на лиловый горизонт, на кучующиеся в высоком небе треугольники птиц, готовившихся к дальнему перелёту, на багряно-жёлтый листопад редких осин и берёз и понимал, что всё, что он видит – и присушенную луговую траву, и криво распаханное поле, и прилипшую к лобовому стеклу серебристую паутинку, – всё это его, родное, неотторжимое от его сердца, его боль и надежда.

Дорога круто скатилась к буераку, а когда вынырнула из него, то перед глазами встали камышовые заросли, за которыми отблеском казачьей шашки проглядывало непотревоженное полотно незнакомой реки. По берегу на выпасе гулял небольшой табун золотисто-рыжих дончаков под присмотром коневода столь незначительного роста, что сперва его можно было признать за подростка, а уж потом, вглядевшись, распознать в нём низкорослого мужичка. Казачок был одет в чесучовый бешмет и брюки с лампасами. На ногах напялены чувяки из валяной шерсти, засунутые в резиновые калоши. Форменная фуражка с синим верхом и наполовину сломанном козырьком, скособочившись, залихватски прицепилась к его чубатой голове. Коневод посвистывал и лениво помахивал длинной нагайкой-волчаткой, с помощью которой он пытался отвлечь внимание двух жеребцов. Кони ярились, не обращали на него внимание, заня-

тые только тем, чтобы пострашнее напугать друг друга. Вскидывались на дыбы, разевали пасти, выпячивая крупные жёлтые зубы и храпели с повизгиванием, разбрасывая пену на круп и гриву соперника.

Егор невольно залюбовался проявлением природной силы прекрасных животных, вступивших в схватку за обладание табуном пугливых кобылиц, – вот где истинная свобода, где по ковыльным степям гуляет вольный ветер.

«Должно быть, это уже Маныч. Значит, скоро и хуторскую околицу увижу. Вот бы сходить к тихой протоке. Поудить рыбка и понадёргать на ужин раков, – сама по себе пришла в голову светлая мысль. – Ну, ничего, сегодня повечеряю с тёткой, а завтра прихвачу сеть с балберками – и на речку на весь день».

Нечаев откинулся назад и прикрыл глаза веками. Всё складывается хорошо. Он осмотрится, обдумает, а потом, скорее всего, позвонит подруге. Пусть тоже приезжает. Погостит. Подышит свежим донским воздухом, а там, глядишь, и останутся они здесь навсегда.

Шофёр попался говорливый и рассказывал, всё больше для себя, о том, что приехал сюда из Армении, что работа и жизнь здесь ему по душе и люди встречаются в большинстве своём приветливые; о том, куда и зачем возит он песок, навоз и щебень. Подвывание мотора, докучливый речитатив водилы и тряска ломали шею. Отяжелевшая голова рухнула вниз и прижалась к боковой дверце.

– Безмянный, – сквозь дрему пробился голос. – Где дом твой, приятель?

Егор продрал закишие веки:

– Должно быть, дальше. – Теперь они ехали не по степному просёлку, а по улице, которую с обеих сторон обступили яблоневые дворы и дома под жестяными крышами. – Притормози. У старика спрошу, что у обочины стоит.

– Почтение вам, уважаемый! – Лесоруб приоткрыл дверцу со своей стороны и поставил ногу на подножку кабины грузовика. – Как могу найти двор Дарьи Алексеевны Нечаевой? – спросил он.

Старик снял с головы картуз и подошёл ближе:

– Дарья Нечаевой, говоришь? А кем ты ей доводишься?

– Племянш я её. Егором зовут.

– Егор Нечаев, значит. Ну-ну. Дальше езжай. На выселки. Там и дом стоит, – неопределённо куда-то в сторону махнул старик своей узловатой деревянной палкой. После чего отвернулся, достал из кармана брюк большую тряпицу, заменявшую ему носовой платок, и стал долго и натужно в неё сморкаться.

Попрощавшись с водителем, Егор легко, сняв накинутую поверху проволочную петлю, открыл калитку из штaketника и прошёл на баз, который сразу неприятно поразил его признаками запущенности. Фруктовые деревья обвисли под обильным урожаем антоновки и аниса. Яблоки кучами валялись под кронами и шаровидным ковром покрывали даже единственную дорожку, ведущую к дому. Похоже, кто-то их начал собирать, а потом бросил, утомившись или за ненадобностью. Колодезный журавль одиноко маячил, вздёрнув к небу мятое оцинкованное ведро. Неприбранными у стены хаты маячили прислонённые грабли, лопаты и мотыги, как будто хозяину был недосуг отнести их в сарай, поскольку он куда-то очень торопился.

«Плохо, плохо, – решил про себя Нечаев. – Видать, совсем плоха тётка стала. Запустила хозяйство».

Он с ходу толкнул входную дверь, которая дёрнулась, но не поддалась. «Неужто пошла куда, старая, или оглохла совсем?»

Егор решил по кругу обойти дом, стараясь через задёрнутые занавески рассмотреть внутреннюю обстановку, – глядишь, и тётку свою, Дарью Алексеевну, обнаружит. Приседал, заглядывал сбоку, взбирался на завалинку и прикладывал ухо к стеклу. Всё было напрасно. Он так и не заметил ни лучика света, ни шороха старушечьих шагов. Покружив вокруг дома, лесо-

руб на всякий случай ещё раз подёргал запертую дверь и направился к сараю, который одиноко маячил метрах в пятидесяти, чтобы проверить и его.

К удивлению Нечаева, в большом, разделённом на секции сарае царил полный порядок: корова с хрустом пережёвывала сноп свежего сена, чёрно-белые бока молочной красавицы были вычищены, а большое отвислое вымя тщательно вымыто. В деннике стоял рослый ладный конь буланой масти и не спеша, всхрапывая, чёрными бархатными губами перебирал в яслях янтарный ячмень. В клетях возились хохлатые пёстрые куры, устраиваясь на ночлег. Всё говорило о том, что за базом приглядывают и поддерживают хозяйство с умом и сноровкой.

«Это уже хорошо. Чисто, аккуратно. Тётка живёт не без помощников. Тогда пойду соседней проведать. Там и свою старушку найду». Егор подхватил фибровый чемодан с металлическими уголками, вышел со двора, осторожно притворив за собой калитку, и направился по вьющейся вдоль забора тропинке в сторону ближайшего дома, который на фоне вечеряющего неба ярко светился четырьмя фасадными окнами.

Однако зайти на соседский двор сразу не получилось. Вывернулся из собачьей будки большой кудлатый кобель со скрученным одним ухом и принялся выплясывать у калитки свои пируэты. То приседал на хвост и, вскинув лобастую голову к проступившим на небосклоне звёздам, начинал рвать клыкастую пасть залиvistым, с гортанными перекатами лаем. То, отпрянув назад, бросался из стороны в сторону, совершая ныряющие выпады всем туловищем. То, замерев на минуту – должно быть, для того, чтобы обдумать новые приёмы атаки, чтобы добраться до незваного незнакомца, – скрёб под себя лапами, поводя впалыми боками, и протяжно скулил, будто подзывая подмогу. Делал перерывы, а передохнув, вновь бросался к забору с жутким подвыванием, которое обычно издаёт матёрый вожак, ведущий отчаявшуюся волчью стаю на прорыв оклада, раскинутого вокруг них промысловой охотничьей бригадой.

«Выломать где-то кол или палку потолще найти? – в нерешительности остановился лесоруб. – Так всё равно не поможет. Обязательно умудрится цапнуть, а заодно и брюки порвёт. Да и пса жалко. Хорошо служит».

На его удачу, вскоре скрипнула дверь, и в проёме появилась фигура женщины с накинутым на плечи широким платом.

– Черкес, Черкес, ко мне, – раздался её высокий мелодичный голос. – Ты что это развоёвался? А вы заходите, не бойтесь. Он вас не тронет. – Эти слова женщины явно адресовались Егору.

Опасливо протиснувшись через калитку, лесоруб подошёл к дому и только там сумел рассмотреть свою спасительницу, стоявшую в световом потоке, падавшем из дверного проёма. Рядом с ней, прижимаясь к ногам, находился корноухий защитник. Женщина поглаживала рукой холку грозного сторожа, который, расставив широкие лапы, глухо ворчал, перекатывая в утробе предупреждающие нотки: «Всё вижу, всё замечаю. Попробуй только дёрнуться».

– Извините, – произнесла женщина. – Это он у нас поначалу такой ретивый, если человека не знает, а так это смирный пёс. Вы не бойтесь его, – вновь повторила она.

– Я не боюсь, – усмехнулся Егор. – Только вот без вашей помощи я вряд ли смог бы до вас достучаться.

Теперь он всё пристальнее всматривался в свою собеседницу. На его взгляд, женщине было не больше тридцати лет, то есть она была в том возрасте, о котором на хуторе сказали бы – молодуха. Её чёрные волосы слегка растрепались, а на щеках округлого лица всё явственнее проступал маковый румянец. Скорее всего, от того, что вечерняя прохлада измазала их рябиновой краской, или потому, что недвижные глаза пришлого человека сковали её сильнее цепей.

«Что он так пялится на меня? Кто он, откуда приехал и зачем зашёл к нам? – волновалась молодая женщина, а вслух произнесла:

– Заходите. Милости просим. Отужинайте с нами.

Бесхитростное степное гостеприимство тронуло таёжное сердце лесоруба.

«Сейчас я тётку свою, Дарью Алексеевну, должно быть, увижу», – обрадовался Егор и шагнул в избу.

Большая комната была сильно натоплена и заполнена людьми. Посередине размещался длинный, крытый белой с синей оторочкой скатертью стол, на котором стояли глиняные крынки с топлённым в печи молоком, круглые деревянные тарелки с нарезанной крупными ломтями домашней пшеничной паленицей и два больших, прикрытых расписными рушниками чугунок. В одном, по всей видимости, находилась распаренная рассыпчатая картошка, а во втором – главное варево, может быть, куски разваренной баранины или мясной казацкий гуляш. Воздух был насыщен дурманящим запахом сытной еды. Егор остановился у входа и с удовольствием потянул носом дразнящий аромат.

За столом сидели несколько стариков, занятых тем, что деловито разливали из двухлитровой бутылки из простого стекла зеленоватую «дымку», а ещё пара старух, разомлевших в тепле и потому скинувших с головы на плечи ситцевые платки.

– Мир вашему дому, – приветствовал собравшихся лесоруб и чинно изобразил полупоклон.

– Ты кого же к нам, Анюта, привела? – спросил статный и ещё крепкий старик в синей рубахе с раскрытым воротом.

– Это гость наш, Прохор Иванович, – живо откликнулась молодуха, выходя из-за спины Егора. – К нам постучался. А кто он и зачем пришёл, так это он сам расскажет.

– Гость? – вполголоса промолвил старик, метнув из-под кустистых бровей в сторону молчащего таёжника изучающий взгляд. – Гость – это хорошо. Проходи, мил человек, коли так. За стол садись и перекуси с дороги, чем Бог послал. – Старик протянул Егору полный стакан самогона, а молодая хозяйка ловко и быстро принялась складывать ему на тарелку нехитрую снедь, стоявшую на столе.

Лесоруб ел быстро, грубо разрывая руками хлеб и чуть ли не целиком глотая большие куски мяса. Его никто не торопил и ни о чём не спрашивал – вначале накорми человека, а уж потом вопросы задавай.

Увидев, что пришлый человек немного утолил свой голод, крепкий старик, которому явно была отведена роль старшего в этой великовозрастной компании, поднял свой стакан первача и окинул взором присутствующих, приглашая всех последовать его примеру. Все дружно выпили. Женщины, немного смущаясь, прикрыли рот ладонями, и принялись быстро заедать самогон хлебом, а мужики лишь крепко крякнули и одобрительно посмотрели друг на друга.

Поставив пустой стакан на стол, Нечаев решил, что теперь он может говорить. Выпил алкоголь, отступился от своего правила жить на трезвую голову, чтобы хозяев уважить.

– Егор я. Егор Нечаев. Приехал проведать тётку свою, Дарью Алексеевну. Дома её нет. Думал она у вас. А её и здесь нет.

Выслушав лесоруба, старики все враз беспокойно заёрзали и стали переглядываться – кто должен первым ответить приезжему человеку? Молодуха Анюта поднялась со своего места и отошла под образа, где спрятала руки под расписной передник, накинутый поверх её нарядного хлопкового платья.

– Выходит, ты племян Дарьи? – Голос Прохора Ивановича прозвучал настолько монотонно и отстранённо, что могло показаться – он с трудом вытягивает из себя слова. – С приездом тебя, Егор. Только вот опоздал ты, паря. Нет Дарьи. Померла она. С месяц как отдала Богу душу. Всё ждала тебя, надеялась. – Старик размашисто перекрестился. Его примеру последовали все находившиеся в комнате.

Ничего не ответил Егор, а только потянулся за бутылку с «дымкой». Дрогнуло его закалённое сердце. Хотя и редко видел свою тётку, но сейчас остро почувствовал, что остался один на свете. Никого не было больше на земле из его родственников. Не с кем перемолвиться

и вспомнить былое, заветное. Сам же он до сих пор бобылём живёт, по таёжным заимкам кочует. Ни жены, ни детей. Нет семьи. Негде голову приклонить.

– А где же её похоронили? – только и спросил он.

– Известно где, на хуторском кладбище. Рядом с твоей бабкой и похоронили, – чем-то недовольный, хмуро ответил старик Прохор. – Завтра сам всё увидишь.

Больше Нечаева никто и ни о чём не спрашивал. Вроде как свой, но всё же чужой человек. Случайный, непонятный. Не заслужил ещё доверия, чтобы откровенничать. Старики загомонили о своём, только им знакомом. Нюра так же стояла в красном углу комнаты, горестно подперев ладонью щёку, и не сводила глаз с Егора. А лесоруб пил, не пьянея.

Каждый думал о своём. Старики о прожитом, о жизни быстрой, мимолётной, в которой горести было больше, чем радости. Всего не перечесать. Нюра о том, что ещё молода и красота её цветёт не расцветая. Где на хуторе женихов найдёшь? В станицу ехать надобно, а то и в сам Ростов. Заждалось женское тело, не чувствует постукивания маленькой ножки изнутри, из-под самого сердца. А Егор уже ни о чём не думал. Знал только, что придётся задержаться ему в Безымянном. Круто сложились дела. Принимать тёткино хозяйство надо. Больше некому. Что делать, с чего начать? Так и сидел бы в оступелой обречённости, если бы не дребезжащий фальцетом старушечий голос, затянувший незнакомую ему песню:

*«Дымом потянуло да от Дон-реки,  
Разгулялись в поле казаки,  
Разодрались в поле казаки,  
Засветились в ночи звонкие клинки.  
Брат пошёл на брата, цвет на цвет.  
Старший брат женатый, младший нет.  
Белый цвет и красный так сплелись,  
Кровушкой напрасной на землю пролились.  
Белый цвет и красный так сплелись,  
Ой, кровушкой напрасной на землю пролились.  
Замело поле за рекой.  
Выдохся к рассвету и затих тот бой».*

Враз подхватили песню и другие казаки, и казачки. Закручинились их лица, затуманились глаза. Замотали, как донские жеребцы, своими чубатыми головами старики. Вешними ручьями побежали между морщин горючие женские слёзы. Тяжело давалась песня, рыдальными спазмами перехватывала горло. Из глубин памяти выплыла чёрная пороховая гарь вековой давности, застилая ковыльные степные просторы, леса и перелески, пыльный шлях и ласковую гладь батюшки-Дона. Раскрылись застарелые кровавые раны на казацких душах. Долгие годы живут и прячутся они в человеческом сердце, замирая только тогда, когда понесут боевые товарищи на погост своего побратима. Но одна, глубинная, будет и дальше, как ядовитый багульник, травить и жечь его детей и внуков и дождётся заветного часа, с тем чтобы навалиться на них удушливой волной, туманя сознание и выдавливая к жизни незатихшую боль и горечь притерпевшихся обид.

Хорошие соседи попались Егору Нечаеву. Признали, дали приют и ночлег таёжному скитальцу. Казак как никак, хоть не на своей земле живёт, но всё же свой, кровный. А рано поутру, выпив цельную крынку холодного молока и стряхнув похмелье, отправился горемычный сирота навестить свою тётку Дарью. Выйдя по проулку за хуторскую околицу, наломал Егор охапку веток кермека со скукожившимися от холодных ночей и осыпающимися лиловосиними цветами и приложил к ним пучок стрелчатой травы.

Долго стоял казак у глинистой могилы Дарьи Алексеевны, прикрыв своим букетом её обвалившийся край. Молчал, крутил головой, обозревая проваленную по ближней стороне чугунную оградку, и кланялся одинокому неокрашенному кресту в изголовье ещё не застылого траурного холмика. Вот они, все здесь собрались: его три тётки, две бабки и даже стёртое вровень с землёй пристанище его прабабки. Все женщины. Нет только ни его отца, ни деда, ни прадеда, ни других казаков из нечаевского рода. Кто сложил свои головы по рубежам родной отчизны, кто за кавказским хребтом, на дунайских холмах, выложив безглазое ожерелье вдоль карпатских перевалов и на венгерских равнинах, а кто в сибирских застенках.

Долго стоял в нерадостном раздумье Нечаев. Вместе с ним молчала и Анна, накинув на смоляную голову чёрную шаль, – та самая Нюра, которая близко приняла старческие печали его тётки. Ходила и за ней, и за её коровой.

Светла и необъятна Донская земля. Вольготно живётся на ней свободным людям и всякому зверью. Распахнута к солнцу и синему небу казацкая душа, когда летит навстречу ветру, напоённому донским разнотравьем, лихой степной всадник, вскочив на спину золотистого скакуна с багровым отливом в чёрных глазах и раскинув в стороны по православной вере свои руки. Ложится под росчерком его шашки гибкая и пугливая лоза; катятся по раздольной степи, подпрыгивая на сусличьих норах, вражьи головы. Крепко, дороже отца с матерью, детей и жён своих, берегут донцы родную землю и ненаглядную волю-любушку. Зорко всматриваются они в чернеющую на горизонте зловещую даль и прижимаются ухом к разломанному в трещины злым суховеем целинному полю. Не слышно ли топота копыт ордынской конницы, не светят ли в ночи дегтярные факелы, готовые подпалить их курени и лабазы; не всполошится ли сизокрылая перепёлка-свистунок, предупреждая о непрошенных гостях?

«Отчего, не шелохнувшись, замерли деревья и не засыпают печальный приют золотисто-коричневым саваном? Не заплутал ли в тяжёлом небе зоркий орёл-курганник? Не видит и не знает он меня. Не от того ли так грустно на душе моей?» Недвижный взгляд Егора вперился в бесконечные ряды могильных крестов. Один, второй, третий... бесконечность. Семьями, родами лежат. Была жизнь – и ушла. А теперь? Мало кто на хуторе остался, да и то больше приезжие.

А казаки, соль Донской земли, где ноне они? Почему не разлетаются над ковыльными степями их звонкоголосые песни? Почему не храпят, не визжат и не вскидывают копыта неукротимые дончаки, отстаивая право на будущее потомство? Неужто истончилась, умаялась удаль прежняя, порастёрлась моща казацкая; вещим камнем согнула руки сильные и распластала спины крепкие по моровой траве, покрыв их чертополохом-репейником? Иль донельзя изгрызены бесстрашные сердца тоской да печальями? И сказа более нет.

Так что, может, прогневили, не покаялись нашему Богу Господу; не ложатся молитвы наши к ногам заступницы – Его Матушки?

Ведь пуще святого-святого берегли веру старую, нерушимую. Отказали царю-батюшке, а если потом и поклонилися, так с честью-достоинством. Уважили беречь околицы его царские: «Тебе служба и защита, а земля-воля – наши». Рубили сильного и слабого, виноватого и правого. Откатали орду турецкую, а коль ложились под ятаганы янычарские, об одном просили, как о милостыне: «Не сподобил Бог голову сложить на поле бранном, рядом со товарищами, потому смерть хочу принять нескорую, тяжкую, на коле длинном, с зазубринами. Негоже уходить человеку так запросто, не умаявшись на горячий земле. Не будет ему далее ни креста, ни прощения».

Ясно и просто жили казаки. Поля распахивали, пшеницу сеяли, жён да детей малых любили, свой век укорачивали, сохраняя отчизну-родину. Нежданно-негаданно блеснула заря кровавая годом семнадцатым. Ни царя, ни веры – смахнула их рука красная. Не покорились донцы, не рассупонились, поверили своим атаманам, не порушили присягу святую.

Не кубанцы-хитрецы, гуртом встали за волю древнюю, за республику свою народную, что на Дону тихом, ласковом.

И опять рубили и вправо, и влево, с потягом и с поворотом, ломая вражьи коням шеи, тела комиссарские от погона до пояса рассекая. Брат и не брат уже. Юшка красная глаза застилает. Да где ж там Русь лапотную переможешь. Нас сотни – их тысячи. Нас тысячи – их миллионы.

Прошла пора грозная, умаялись наряды расстрельные, стоят хаты бесхозные, плывут по Манычу и Дону фуражки синеверхие. Жизнь незнакомая, колхозная, чуждая – так земля застоялася, заждалася, рук требует. Может, спробуем? Не поверила им власть, не миловала. Двадцать лет спрашивала-допрашивала.

Так опять встал на пороге гость непрощенный – враг незванный. Намётом-всполохом метнулся по родимому шляху сорок первый год. Опять закачалась над скрипучим седлом казачья папаха. Вновь атаманов своих послушались, поверили, старое вспомнили. Волю прежнюю, привычную вернуть, пестовать. Обманули их на сей раз начальники, хоть своими прозывались. Кто форму надел серую, мышиную, чуждую – потерял честь свою казацкую. Да куда уж теперь денешься – ни повернуть, ни вывернуть. Опять междоусобица кровавая, непримиримая. Не признал брат брата, взял его в винтовочный прицел, кинжалом стал резать горло песенное. Без жалости, без снисхождения. Не омыть раны их рваные донской водицей целебной. Не лечит она предателей.

А те, кто встали на сторону праведную, за народ свой, за родину, уж ждали их на заветном том берегу, каторжном, на дальней речке той неведомой, австрийской, что течёт в горах высоких, тирольских. Дравой прозывается, что у города нестольного, а так, Лиенца. Нет и не может быть прощения в таком случае. Это же не знамя: то ли белое, то ли красное. Здесь грех большой, несмыаемый, тот, что до седьмого колена, остатнего. Брат не забудет той свастики нагрудной и орла имперского, немецкого, что на правой стороне кителя ээсовского. Тут гадать не приходится. Всё ясно, как на исповеди: и станицы дотла сожжённые, и виселицы кособокие.

Уж лучше сразу стать под пулю автоматную, успокоиться. Да дети на руках малые и жёны за спинами в голос воют под штыками длинными, английскими и прикладами дубовыми. Что делать? Деваться боле некуда. Видно, такова судьба наша – разлучница. Умирать приходится не в бою честном, за правду и счастье народное, а за выдумку пустую, обманную, за обещания ложные. Уж лучше утопиться в омуте глубоком, где сомы усатые, свои, родимые, да кто ж позволит это – Дон тихий поганить. То заслужить надобно.

А раз так, что нельзя умереть нам по желанию по последнему, прыгнули казаки в ту речку студёную, форельную, чуждую, прижимая к себе детей своих безвинных, несчастливых. Опять поплыли по водной глади фуражки и папахи синеверхие. Поплыли в безвременье. Не зазвелят для них колокола на святую Троицу.

Так сколько ж можно народ простой, доверчивый оборонить да перепаживать? Извести ведь под корень можно. И так мало родов древних казачьих на Дону осталось. Не восстановят переселенцы охочие славу былую казачью. Некому будет сказать, как прежде, как ранее, что «казачьему роду нет переводу».

Долго ещё стоял Егор. О разном думал. Вспоминал слова песни вчерашней, что пели старики. Крепко стальными гвоздями вбилась она ему в сердце. Не стереть, не выкорчевать:

*«Руки задрожали, божже мой,  
Я зарубил младшого собственной рукой.  
Руки задрожали, божже мой,  
Я зарубил младшого собственной рукой.  
Чуб его белёсый ветер теребит,  
Как живой курносый в ковыле лежит.»*

*Ты прости за то, что разглядеть не смог.  
Что скажу я мамке? Ты вставай, браток.  
Ты прости за то, что разглядеть не смог.  
Ой, что скажу я мамке? Ты вставай, браток».*

Нюра не мешала ему и думала о своём. Хороший казак. Справный. Запястья широкие, ладони крепкие. Такой и обнять сможет так, что сердце захолонится, и хату срубить. Вот приклониться бы к нему, встать за его спиной. Дети бы пошли, а уж печь она бы растопила, пироги спекла. Сидела бы за столом и смотрела, как суетится и радуется малышня, как муж не торопясь макает ложку в бурачный борщ. Стопку выпьет и зваром запьёт. Тихо и покойно стало бы у неё на душе. Не зря, значит, на свет белый, народилась.

Молодая женщина несколько раз глубоко вздохнула, разогнала мысли Егорьевы. Искося взглянул он на стоявшую рядом молодуху. Может быть, и вправду замкнулся круг и вернулся он туда, где всё когда-то начиналось? Тогда хватит печалиться. Тётке уже ничем не поможешь. Ей сейчас, может быть, лучше, чем нам здесь?

Хорошая девка. Статная, бёдра широкие, шея белая. Участливая и, видать, работающая. С такой можно век прожить. Надёжная, доброй помощницей будет. Может, хватит уже таёжного гнуса кормить? Пришла пора семьёй обзаводиться, и гнездо родимое так просто не брошишь. Оно ухода требует.

А когда на подушку белую лёг чёрный локон Анюты, понял Егор, что не оторваться ему от тела пышного, что место его здесь, на этой земле, по которой ходили его предки. Стирались, уплывали в прошлое тунгусские черты лица его приморской подруги. Заворожила его донская казачка своими чёрными глазами. Прочёл в них, что любить его ладушка будет до тех пор, пока блюсти он будет традиции, от пращуров унаследованные. Верит, что не отступится он в лихую годину, не дрогнет его сердце даже в смертный час.

Отписал Нечаев в свой леспромхоз, что нашёл он родное пристанище, и получил письмо ответное, приветливое, переслали и деньги за последний сезон, как положено. По совету Анюты сходил он и к главе хуторского совета.

– Ну что, Егор Иванович, – сказал ему атаман. – Рад, что казака перед собой вижу. Отца твоего помню, о деде твоём знаю. Память добрую храню. Ты гордись ими, не забывай. Любила тебя Дарья Алексеевна. Завещание написала. Документы на землю и хозяйство в порядок привела. Владей ими. Я так думаю, неча тебе по свету мотаться. Прибивайся к родному порогу. Обустройвайся. Фермерствовать начинай. Народ нам нужен. С фуражом, инструментом поможем. Правда, бывает, приезжают сюда городские, шалят. Если скрутна будет и сам с ними не справишься, приходи, не стесняйся, вместе что придумаем. – И отвёл взор почему-то в сторону.

Совсем близко подошёл атаман к Нечаеву и, забрав его ладонь в свою бездонную ручищу, долго жал её и в глаза всматривался, будто разобрать хотел, что за человек перед ним стоит. Какой он? Настоящий ли?

Насмотревшись, атаман развернулся и, прихрамывая на правую ногу, вернулся к своему столу. Наклонившись, достал из-под него что-то длинное, похожее на палку, завёрнутую в простую холстину.

– А это, Егор Иванович, от тётки Дарьи тебе дорогой подарок. Сабля твоего прадеда. В бою он её добыл, у турецкого сипаха. Береги её пуще жалочки и внукам передай.

Ходко пошло дело у донского казака Егора Нечаева. Забор, где надо, поправил, падалицу со двора убрал, крышу на сарае перекрыл, косы и лопаты наточил, а главное – планы задумал. По весне надо овчарню соорудить, сыр, мясо, шерсть для людей делать; клетки для кур и индеек новые поставить; стойло для ещё одной бурёнки расширить, да и буланого под седло приучить. Не помешает.

Нюра помогала ему во всём, а когда смотрела на любимого, глаза её светились от того, что впереди она видела новую жизнь, большую, солнечную, долгую, и чувствовала в себе её присутствие. И тогда тёплая волна скорого счастья накрывала её всю, прокатываясь от располневших грудей к самому низу живота. Недолго уже. Должно быть, на Пасху!

Даже Черкес перешёл к ним жить. За Нюрой потянулся. Перебежал от соседей, а те и не возражали. Пусть два дома сторожит. Лохматый кавказец уже не казался Егору таким свирепым, как по первоначальному. Бегал за ним как щенок, кормился с рук, а всё больше сопровождал его, когда Нечаев уходил к протоке или по какой-либо надобности в дальний лес. Тогда пёс шёл за ним след в след, как молодой волк-подъярок идёт за своим вожаком. Зимой у Черкеса выявилось ещё одно пристрастие: длинными ночами он предпочитал находиться не в своей дощатой будке, а выбирался наружу и устраивал логово в большой куче снега, которую Егор нагрёб, расчищая проход к дому. Тепло и удобно было ему в этой норе, но когда донимавшие его сны становились особо тревожными, то он выбирался из своего логова и, не стряхнув со шкуры снег, вскидывал огромную голову к звёздному небу и принимался выводить заунывную песню. Егор мог поклясться, что эту песню слышат и откликаются на неё даже серые собраты Черкеса из лесного урочища, что километрах в пяти от хутора.

Нюра пугалась и зажимала руками уши, тихо приговаривая, что этот вой её доведёт, а Егор успокаивал, объясняя, что Черкес чувствует близкую вьюгу. Однако в особо холодные дни он запускал пса в тёплую хату, чтобы тот отогрелся и слизал с лап обвисшие сосульки. Тогда все чувствовали себя вместе, единой семьёй. Топилась жаркая печка, Нюра сидела на диване и вязала из клубков разноцветной шерсти какие-то маленькие вещи, а Черкес подползал к хозяину, клал ему на колени кудлатую морду и неотрывно смотрел на него своими чёрными глазами.

«Странно, – думал Черкес, – ещё недавно я не знал этого человека, где он жил и откуда приехал, а теперь у меня нет никого дороже него». В порыве любви кавказец размыкал свои грозные клыки и принимался лизать руки своего друга, звериным нутром чуя, что в том есть что-то от него самого, скрытое, таёжное.

Старинный, драгоценный подарок достался Нечаеву от тётки Дарьи. Взял в жаркой схватке саблю его прадед Георгий, поразив пикой не простого сипаха, а самого черибаша, командира турецкой конницы. Диковинная сабля оказалась в руках Нечаева, скорее не оружие, а произведение искусства, словно созданное для того, чтобы находиться в музее за стеклянной витриной, а не чтобы свистеть в воздухе и полосовать слабое человеческое тело.

– Хороший килич у тебя будет, Георгий, – сказали казаки своему сотенному командиру, глядя с одобрением, как тот заботливо стирает с клинка запёкшуюся кровь.

И то правда – длинное изогнутое лезвие с рукояткой из слоновой кости, прикрытой крестовиной с картушем и рисунком из лепестков-рун и с витиеватой арабской надписью. Если бы нашёлся человек знающий, то он перевёл бы Егору эти вещие слова: «Сделал Касым-египтянин, раб Всевышнего Бога. Будет крепка защита твоя во брани». Хороши были и ножны, украшенные по всему прибору глубокой гравировкой с выпуклыми поясками, покрытыми позолотой. Древнее мамлюкское оружие стало семейной реликвией казачьего рода.

Ничего подобного никогда не видел Нечаев. Опять, как тогда на кладбище, закрутились в его голове неясные образы, будто выплывали перед глазами сцены жизни из прошлых времён. Славно послужила сабля его предкам. Многих врагов отечества успокоила она на подступах к родному краю. Часто Егор вынимал её из шкафа и часами рассматривал, любясь хищной мощью дедовского оружия. Бережно фланелевой тряпкой протирал его клювообразное лезвие; нежно, как к женской груди, прикасался к его рукояти, поглаживал пальцами наверх в форме головы грифона.

Крепче прежнего хранил в душе родовой девиз: «Честь, совесть, бесстрашие и вера отцовская, православная». Другая, не арабская, вязь на стальном клинке виделась ему в неров-

ном свете напольного ночника: «Гнишь, да не ломайся. Ты казак донской. Ты род избранный, народ святой, Богом любимый».

Покатились дни быстролётные, всё ближе весна долгожданная. Ждал её Егор как любушку, всё на баз выходил в расстёгнутом полушубке, смотрел на небо сизое, воздух носом и грудью щупал. Может, летят уже от моря Азовского ветры тёплые с доброй весточкой?

«Вот бы послушать трели майские соловьиные. Ничего нет лучше на земле, чем певуны наши донские, острокрылые, разве что кони буланые да шашка кавказская, острая. Что слышал я в лесном краю? Только гагару потешную, чернозобую?»

Дождлся Егор своей весны. В погребе картошка с чесноком нарядились в стрелчатые молочно-зелёные короны. Зашумела протока ледяными осколками, выбросились к солнцу дерзкие первоцветы, укрылась степь в апреле, к маю тюльпанами и травами, враз вспыхнула огневными маковыми кострами. Никогда не видал Егор такой красоты. Не мог поверить, что он воочию видит эту необузданную фантазию природы. Может ковыль серебристый руками потрогать, может вдохнуть в себя пряный аромат донских просторов, а захочет – нарвёт букет полевой для своей любимой. Всё чаще выводил он жену свою венчанную полюбоваться вишнёвым листопадом, чтобы могла она послушать, о чём разговаривают деревья в их саду, и непременно чтобы попробовала зубами веточку яблоневою и ощутила, как вливаются в неё соки вешние. Хотел как-то помочь ей, оторвать от тревожных дум. Отяжелела Нюра, пугливой стала, о сроках всё больше заговаривала.

Черкес совсем ошалел. На дворе его было не застать. Днями и ночами справлял собачьи свадьбы свои с хуторскими невестами. Было бы по-другому, не закружил бы весенний хмель его голову клыкастую, может, и не приключилось бы событие горькое.

В тот день Нечаев встал пораньше, решив, что сегодня он непременно должен переделать очень много дел. Углядел, что с угла дома кровля расползлась. Подправить надо. Телегу в резиновые калоши обуть. Зерно для куриного стада на хуторе перехватить. Да мало ли чего. Не удивился и тому, что ближе к вечеру без спросу, без разрешения двое парней во двор зашли. Такое бывает – грех отказать в помощи проезжему.

– Здорово, мужик, – сказал тот, который повыше. – Ты, мы видим, уже хлопчешь. Времени даром не теряешь.

– Здорово. Я не мужик, – ответил Егор, подходя к незнакомцам. Многое в их облике показалось ему искусственным, вычурным: вызывающая хамоватость, рыщущий взгляд, цепко выхватывающий, что и как у него устроено на базу.

– Не мужик, а кто ты? Девка? Вроде не похож. Юбку в хате, что ли, снял? – хохотнул другой, кряжистый, с вдавленной в плечи головой с ржыми волосами.

– Я казак, – сдержавшись, произнёс Нечаев. Гости окончательно разонравились ему. Не так просто приехали, с замыслом. Дорогу выстилают, чтобы волю сломать, потому и ёрничают. Оскорбить пытаются. А может, юмор у них такой? Кто их знает, залётных?

– Казак, конечно, казак, – широко, почти по-приятельски улыбнулся длинный. – Мы многое знаем о тебе. Что приехал к нам с Дальнего Востока, например. Что хозяйство налаживать собираешься. Ведь так? Так это хорошо. А на Ероху не обижайся. – Говоривший мотнул головой в сторону своего напарника. – Он и лишнего чего брякнуть может, а так он у нас сама доброта. Что скажешь, Егор?

– А что я должен сказать? – нахмурился Егор. – Мои дела – это мои дела. Скажите, за какой надобностью зашли ко мне на двор, а то времени у меня нет, чтобы с вами талалаять. Вот скоро юра поднимется, а мне ещё навоз сгуртовать надо.

Теперь он знал, что перед ним люди чужие, нехорошие, что говорить с ними нечего, а враз со двора выпроводить. Повидал он таких по таёжным стойбищам и знал, как с таким людом управляться.

– Ну, с навозом своим это ты сам разбирайся, – выступил вперёд крепыш, решительно отодвинув в сторону своего рослого товарища. – Ты сюда приехал деньгу зарабатывать, фермером стал, а раз так, то делиться с нами будешь. Уразумел?

– Это с какой же радости я вам платить буду? Я, значит, на земле своей вкалывай, а вы обдирать меня будете?

Нечаев почувствовал, как волна ярости начала туманить ему голову, пудовые кулаки отяжелели. Он даже шагнул вперёд, чтобы сподручнее было достать эту ухмыляющуюся рожу, но сдержался. Эх, если бы не семья, и не беспомощная Нюра. Не с руки эта перебранка. Нельзя тревожить её.

– Да ты не горячись, Егор. – Длинный опять высунулся из-за спины своего приятеля. – Мы же к тебе по-хорошему, значит, и ты должен с нами по-хорошему. Считаю, мы с тобой земляки. Значит, уважение друг к другу иметь должны. Мы не сейчас просим, но к концу месяца подготовь тысяч десять. Это так, для начала. Если что, у соседей займи. Они понятливые, сразу откликнутся. Нам никто в станице не отказывает. Зато жить будешь спокойно. Никто не обидит, а если что, мы завсегда прикроем. Ну что, лады?

– Пустой разговор, – отрезал Егор, – не за что вам платить. Не платил и платить не буду. Вот и весь сказ. А теперь пошли вон со двора.

– А ты грубый, дядя, – деланно удивился длинный. Его вытянутое, как вопросительный знак, лицо разбежалось в морщинистой улыбке. – Сделай так, чтобы мы не запомнили твои слова. А за выходку твою грязную теперь тебе придётся платить уже не десять тысяч, а пятнадцать. И запомни, нам ты теперь уже не нравишься. Смекаешь? – Не впервой было удалым молодцам обламывать несогласных. По первоначально сопротивлялись многие, но услышав слова доходчивые, соглашались все.

– А чтобы ты до конца всё понял, мужик, – увалень повелительно выставил левую ногу вперёд, – то скажу только раз. Если против нас чирикать будешь, то бабой твоей брюхатой займёмся и красного петуха во двор подпустим, а потом посмотрим, как ты руками пепел будешь разгребать и мордой...

Последняя фраза далась малому нелегко. Не успел он её договорить по той единственной причине, что его сознание в мгновение отключилось. Как надо лёг в голову литой казацкий кулак, сдвинув переносицу и расплющив лицевые хрящи. Там, где были озорные, на выкате глаза с короткими рыжими ресницами, теперь белели закатившиеся под черепную коробку шары.

У его сухопарого подельника от неожиданного и скорого развития событий отвисла челюсть. Он лишь молча стоял над недвижимым телом, переводя взгляд то на своего распластавшегося на земле товарища, то на спокойно стоявшего со скрещёнными руками Егора Нечаева. Потом, что-то сообразив, парень сноровисто подхватил ноги зарвавшегося рэкетира в кожаных высоких ботинках и шустро поволок его к открытой настежь калитке, туда, где на косогоре стояла их машина. Голова и вытянувшиеся руки рыжего безвольно болтались из стороны в сторону, собирая придорожную пыль.

– Кто это там был? – спросила Нюра, когда Егор вернулся в хату.

– Да никто, – отмахнулся Егор, – случайные люди. Дорогу разыскивали.

В этот вечер Егор предложил Нюре пораньше лечь спать, сославшись на то, что сегодня было много работы и он устал. Не было в его сердце тревоги, никакими мыслями он себя не донимал, просто решил, что было бы очень хорошо, если бы жена пораньше уснула и он смог бы сделать то, что при данных обстоятельствах он считал необходимым сделать. В чём он теперь был полностью уверен, это в том, что недавняя встреча была неслучайной, что его давно выцеливали, присматривались и потому непременно вернуться. И что отныне нет другого пути, как всё решить разом. Долго лежал Егор с открытыми глазами, сдерживая дыхание, пока не уверился, что Нюра заснула глубоко и надолго. Тогда он осторожно поднялся с кровати,

натянул на ноги шерстяные коврики и, прихватив с собой сермяжный бострог, направился в другую комнату, стараясь не скрипеть половицами, и осторожно прикрыв за собой дверь. Бережно трогал Егор шлифовальным камнем ещё дедовскую заточку. Видел, что она до сих пор хороша. Внимательно всматривался в световые блики, пробежавшие по лезвию при каждом его повороте, подчиняясь магии стали. Далеко за полночь скрипнула дверь, и в его комнату вошла Нюра. Ничего не сказала она, увидев, чем он занимается. Ни упрекнула и не посоветовала, а только подошла к нему и, наклонившись, поцеловала мужа в макушку. Дрогнуло сердце казака, когда он ощутил молчаливую ласку подруги, понял, что она одобряет его решение и во всём поддерживает. Прижался на мгновение к её ногам и толстому животу, в котором роилась новая жизнь, продолжение нечаевского рода. Помолился Божьей матери и поклонился иконе древней, темноликой. А когда заря занялась, накинул на себя Егор овчинный полушубок и вышел на улицу. Решил подождать визитёров за калиткой – не хотел, чтобы всё приключилось на родном базу, чтобы жена увидела сцену непотребную. С сожалением лишь посмотрел на пустую собачью будку. Не было в ней Черкеса, не нагулялся, поди, кобель, не всем своим соперникам в клочья морды изорвал. А был бы сейчас кстати, помог бы в деле праведном.

Не прошло и часа, как запели вдалеке моторы. Торопились гости к заутрене. Хотели быстрее утолить жажду мести и наказать строптивного мужлана. Не знали они ещё случая, чтобы кто-то устоял перед их напором. Уступи одному – и другие потянутся. Тогда управы ни на кого не найдёшь. Как тогда волков удержишь, что собрались под их началом ради лёгкой добычи. А тут какой-то выскочка, приезжий, свои права заявляет. Стереть в порошок негодного, чтобы другим неповадно было.

Всё ближе чёрные точки с яркими фарами. Минут через пять будут. Пора рушник с привечальным хлебом в руки брать – дорогих гостей встречать. Развернул Нечаев холстину, аккуратно сложил и положил под куст. Взял саблю в левую руку и потянул из ножен, проверяя, как легко выходит она из своего ложа, а потом встал за раскидистый вяз, что издавна у калитки рос. Нет другой тропы к дому, если, конечно, не обкладывать его со всех сторон. Этим путём пойдут, никуда не денутся.

– Господи, благослови. Укрепи сердце и руки мои.

Дружно захлопали автомобильные дверцы. Одним за другим стали вылезать бравые молодчики. Второй... четвёртый... А где же тот рыжий, что на гриб похож, с разбитым носом и губами-лепёшками? Да вот он, здесь, родимый, за багажником схоронился. Значит, всего пятеро. Солидная делегация, разновозрастная. Кому под тридцать, а кому и за сорок. Те, конечно, посерьёзней, пообстоятельнее. Собрались в круг. Обсудить надо, но и не только. Двое вынули из-за пазухи что-то воронёное, с длинными стволами. Ага, с гостинцами приехали. Наговорились, условились и развернулись в линию, чтобы след в след, затылок в затылок потянуться волчьей трусцой к хате неприятеля.

– Вы, случаем, не меня ищите? – Егор резко вышел из-за дерева. Оторопели сокамерники, про «пушки» свои забыли. Вот она великая секунда замешательства. Мгновение, дающее шанс смелому перед оравой многочисленной.

Заплескалась зеркальная сталь алыми отсветами. Опешили налётчики, стали в кучу сбиваться. А Нечаеву только этого и надо. Корпус вправо-влево, качнуться назад, присесть на ноги и волчком провернуться, подсекая противников. Чуть слышно зачмокали «поцелуи» древнего мамлюкского оружия, прикладываясь то к шее, то к горлу, то к рёбрам растерявшихся охотников до чужого добра. Зашёлкали ответные выстрелы, да, видно, поздно. Четверо повалились ржаными колосьями под серпом жнеца: кто просто так, с разрубленной грудью или безручный, а кто и без кости затылочной. Вроде и не ведал он боя сабельного, но пришла в лихую годину сама по себе сноровка не выученная, а унаследованная от рода казачьего, дедовского. Лишь пятый, тот, рыжий, меченый, в бегство ударился, вихляя толстой задницей.

Прилёг и Егор Нечаев на зеленую траву, к дому ближнюю. Достали его свинцовые пули. Прокусили лёгкое и горло выбили. Смотрел казак в небо синее стекленеющими глазами и видел, что нет в нём ни печали, ни сожаления, а есть только облако первое, рассветное, что ему улыбается. Хотел в последний раз выдохнуть, да задержал дыхание. Углядел, как из-за косогора метнулся бурый шар и, пластаясь в прыжке, достал того, последнего, особенно наглого, что давеча ни за что обидел жену милую. Припоздился Черкес, заприрадовался, всё окучивал подружку лохматую. Сердцем почуял, что приключилась кручина великая. Бросился безоглядно на помощь – на выручку. Вдвоём же легче отбить приступ вражеский.

Сбил с ног грозный кавказец лиходея рыжего. Припёр к земле могучими лапами и сомкнул на шее гигантские клыки. Плётное дело для громадного пса, предводителя всех станичных собак, сломать хрупкие позвонки человека. Оставив свою жертву бездыханной, вернулся Черкес к своему хозяину и принялся лизать холодеющие щёки, а потом вскинул кверху лобастую голову, распахнул чудовищную пасть и завыл так, что, наверное, встрепенулись все серые лесные разбойники от Маныча до Хопра. Он выл, не глядя на бегущих со всех сторон людей. Какое ему дело до них, коль он не уберёт того, кого сам вызвался защищать тогда, полгода назад? Он выл, не обращая внимания на слёзы и причитания простоволосой женщины, которая стояла на коленях над трупом любимого и выламывала себе руки. Что тут скажешь, он и перед ней виноват.

Хорошо сложил буйну голову казак. С саблей в руке, на Донской земле. Правда, не в походе турецком и не на дальней Неметчине, а за дело верное, справедливое, отчий дом и семью свою защищая, землю родимую, руками предков ухоженную. Ну так что ж? Кто сказал, какой враг страшнее: внешний или внутренний? А за тихий Дон умереть – честь великая.

*Март 2018 года*

## Падшие ангелы

Бомж с Триумфальной площади, когда-то откликнувшийся на имя Степан, в кругах посвящённых был более известен под кличкой Колбасная Шкура. Это был знаменитый бомж не только потому, что определил своим основным местом обитания центральный округ российской столицы, а больше в силу того, что регулярно отправлялся в вояжи по всем направлениям туристической Мекки среднерусской возвышенности, которую соответствующие справочники по привычке называют Золотым кольцом. Колбасной Шкуре нравилось ездить в эти места. Во-первых, удобно. Как-никак подмосковные электрички во все времена предоставляли своим пассажирам лёгкий налёт транспортного комфорта. Провести тройку часов в заплёванном тамбуре вагона было для Степана занятием необременительным и, по сути, делом пустяшным.

Редкие патрули железнодорожного контроля Шкуру не трогали, справедливо считая, что выйдет себе дороже. Представители женского пола явно остерегались того, что к ним за воротник перепрыгнет какая-нибудь ретивая блоха из Степановых лохмотьев. Что же касается их неумолимых спутников с железными бляхами на груди и резиновыми дубинками в руках, то они тоже не испытывали особого энтузиазма в отношении того, чтобы заняться восстановлением порядка и выпроводить вон из вагона нарушителя их строгих правил.

Обычно взаимное общение начиналось с грозных взглядов и обещания всяческих кар, а заканчивалось зажатými носами и суматошной толкотнёй в дверном проёме, вызванной острым желанием побыстрее покинуть место событий. Поэтому к пункту назначения Шкура приезжал бодрым и подтянутым, с затаённым восторгом предвкушая неизгладимое впечатление, какое он произведёт на многочисленных туристов из всех земных краёв, приехавших, чтобы насладиться шедеврами древнерусской архитектуры и иконописи.

А тут и он, уникальный и неповторимый Стёпка, Колбасная Шкура, во всей своей бродяжной красе, излучающий миазмы давно не стиранных подштанников. По части ядрёной духовитости ему не было равных.

Кострома, Суздаль и Тверь были полем его «творческой» деятельности, так же как и выходы из московского метро в пределах Садового кольца.

Во-вторых, Степан знал все приёмы, посредством которых с наибольшей эффективностью можно воздействовать на слух, зрительный нерв, а главным образом, на рецепторы обоняния владельцев и обслуживающего персонала миниатюрных кафе и ресторанов, разбросанных вдоль и вокруг достопримечательных мест этих лубочных городков. Для этого достаточно было как бы случайно расположиться где-нибудь неподалёку от входа в эти заведения общепита, как через пять минут максимум из кафе выбежал владелец или его служащий, чтобы начать несложные переговоры. Как правило, Шкура был милостив и позволял уговорить себя за шматок колбасы, буханку хлеба и пару огурцов. После чего величественно удалялся в одном только ему известном направлении.

Забавнее всего было, конечно, на площадях и вообще везде, где наблюдалось скопление народа. Стоило заезжим гостям увидеть колоритную фигуру Колбасной Шкуры, как их восхищение золотыми куполами и яшмовой мозаикой мгновенно улетучивалось, равно как и нагульный за время экскурсии аппетит.

Любил он также ненароком вторгнуться в пугливую группку приезжих со снаряжёнными фотокамерами, разинутыми ртами и раздвинутыми глазами, с тем чтобы насладиться произведённым психологическим эффектом. При его появлении, услышав намерено надсадное рыгание, чихание и сморканье, в рядах туристического племени мгновенно возникали неуправляемые водовороты, и дотоле стройные шеренги ценителей всего прекрасного теряли всяческий

интерес к предмету недавнего восхищения, а также былую сплочённость и позорно бежали от подобрывшегося к ним представителя вездесущей нищенствующей братии.

Ради забавы можно было иногда, под хорошее настроение, выследить в укромном месте городского парка, например у фонтана или на тенистой аллее, влюблённую пару, которая так трогательно прижималась друг к другу и неторопливо прогуливалась по гравийным дорожкам. Тогда Шкура, подкравшись из-за спины, обгонял ничего не подозревающих влюблённых, втягивая их в шлейф совершенно удивительных запахов, подобранных им на ближайшей мусорной свалке. Не оглядываясь, по одним только удалявшимся торопливым шагам он уже знал, что его преследователи повержены и с душещипательного разговора на романтические темы моментально перешли на обсуждение язв современного общества.

Однако больше всего Степан любил размышления на философские темы в те минуты, когда оставался один, примостившись на случайной уличной лавочке. Это случалось всегда в те сладостные моменты, когда в его руках оказывалась бутылка недопитого кем-то кагора или спиртовая настойка из местной аптеки. Для того чтобы раздобыть столь изысканные напитки, большого труда ему прилагать не надо было. У монастырей и церквей всегда роилось немало добросердечных старушек и молодежавых прихожанок, готовых подкинуть «божьему человеку» несколько рублей на пропитание.

И всё же то, что допускалось в провинции, явно не проходило в уличных джунглях столичного мегаполиса. Поэтому, безусловно, можно было бы остаться и там, где течёт река Волга и с городских окраин открываются бесконечные берёзовые рощи и клеверные луга, если бы не одно огорчительное обстоятельство. Так же как любил делать и он, незаметно подкрадываясь к прохожим, так же неожиданно и неизбежно каждый год подступала промозглая осень, а за ней и зимняя стужа. В парках и на соборных площадях провинциальных городков становилось грустно и неуютно. Безошибочный инстинкт начинал всё настойчивей напоминать Степану, что пора возвращаться в бесконечные лабиринты подземной Москвы. Главным образом потому, что там было тепло и места хватало всем.

Степан реально любил колбасу – в любом виде и под любым названием: с жирком и без, с настоящим мясом или с картофельным крахмалом и целлюлозой вместо него. Она могла называться по-разному: докторской и любительской, чесночной и ливерной, копчёной и полукопчёной, – эксклюзив и верх мечтаний. Для её добычи Шкура использовал целый арсенал изошрённых приёмов. Мог изловчиться и выдернуть колбасный батон из коробки при разгрузке продуктового фургона или самым наглым образом выпросить у жалостливой продавщицы мясные обрезки. В крайнем случае мог перелопатить целый мусорный контейнер где-нибудь на заднем дворе престижного ресторана, в который поварская прислуга выбрасывала перегнившие съестные припасы и ни для чего другого не пригодные объедки со столов.

Из-за своего неистребимого чревоугодия Степана должны были бы прозвать, скажем, Ливером или Чесноком, но он почему-то удостоился лишь неблагозвучного имени Колбасная Шкура. Почему «колбасная»? Ну, это понятно и уже объяснено, а вот как быть со «шкурой»? Пожалуй, под этим словом скрывался целый аспект определённых социальных отношений, в основе которых, несомненно, лежало устойчивое нежелание Шкуры делиться с кем-либо из своего сословия дневной добычей.

Этот день складывался для Степана как нельзя лучше. С утра пораньше он облюбовал себе скамейку неподалёку от выхода из метро «Маяковская», что у концертного зала им. П. И. Чайковского. Откинувшись на деревянную спинку и вытянув ноги, обутые то ли в валенки с безразмерными калошами, то ли в обмотки неандертальского дикаря, он предавался сумеречной дремоте. Его не беспокоил робкий, незадавшийся морозец, от которого он был надёжно укрыт многослойными шкурами из старого пальто, свитера и ватных штанов. На голове громоздилась меховая собачья шапка с оторванными ушами. Распухший сизый нос сполз вниз и теперь надёжно прикрывал верхнюю губу, согревая её своим дыханием.

На дворе стояло 31 декабря.

Степан давно не придавал значения датам и дням календаря, считая, что всемирная хронология когда-то очень ошиблась, назначив первое число. Нет, конечно, во времена стародавние он придерживался понятия рабочей недели, ежедневно вбивая гвозди в доски, но вскоре нашёл это занятие утомительным и пришёл к выводу, что оно не отвечает его внутренним принципам. Приоткрывая периодически сонные веки, Шкура безразлично наблюдал за суетящимися муравьями-трудоголиками, вереницей вытянувшимися от входа в метро через всю площадь вплоть до своих офисов и учреждений, где их ждали чай, сигареты и бесчисленные кофе-брейки, которые должны были скрасить их без того унылую и безрадостную жизнь. Принятый в качестве завтрака стакан бормотухи настраивал его на глубокие обобщения:

«Убогие люди, что они нашли в такой жизни? – лениво размышлял Степан. – Всюду у них вечные проблемы и передрыги. Всегда чем-то озабоченные и зависимые от ими же созданных условий. Кто из них скажет: я хочу и могу? Никто. А я могу так сказать. И сделать, потому что я свободен. Я никого не должен обслуживать, а вот они должны, даже таких, как я. Потому что у них, видите ли, есть общество, которое они сами и придумали. Громятся всю жизнь ради квартиры и денег, а потом бац – и нет ни квартиры, ни денег. А у меня дом везде. Где я прилёт, там и дом мой. Жалкие они. Бросают мне свои монеты и смятые бумажки. Нос воротят. А чем они лучше? Подержать бы любого из них этак с месячишко в одних и тех же портках, посмотрел бы я, чем они запахли бы. А впрочем, пусть побегают, а я посплю. От них польза тоже имеется – вот колбасу, например, делают».

Шкура поплотней запахнул своё драное пальто и надвинул на брови обгрызенную шапку. До вечера было ещё далеко. На вечер был назначен общий сбор по поводу кануна Нового года. Тащиться в подвал, что в одном из домов по Воротниковскому переулку, особой охоты не было, если бы не указание свыше. Иерархия существует везде. От неё даже заслуженному бомжу не отвертеться – себе дороже выйдет.

«Новый год не Новый год – мне-то что? Если уж для души праздник нужен, то лучше разыскать Ромашку с Савёловского. С ней и бухнуть, и трахнуть можно. Вот тебе и праздник, а то удумали – компанию созывать».

С этого момента Степан крепко и надолго заснул. Из кармана его ватных брюк вызывающе торчал толстый оковалок ветчинной колбасы, перетянутый просмолёнными верёвками, как символ бродяжной вольницы и достатка.

\*\*\*

Спала и Ромашка. Спала на привычном для неё ложе – на полу длинного и замызанного подземного перехода, который ведёт из метро «Савёловская» к пресловутому Савёловскому рынку. Из её полуоткрытого рта вырывался звук, весьма напоминающий сдавленный стон, который равным образом можно было бы назвать также вибрирующим полухрипом, производимым прилипшей к небу пластиной из спёкшейся слизи. Она лежала, прижавшись к холодной кафельной стене, на расплющенной картонной коробке, подтянув к подбородку ноги. Вытертая мутоновая, с проплешинами шуба надёжно защищала её тело от настильного холодного сквозняка, врывавшегося в полутёмный туннель через открытые лестничные проёмы, ведущие к железнодорожным платформам. Когда-то, в лучшие времена, эта шуба составляла важную часть жизни, была её гордостью. Нет, эту шубу не купил Ромашке щедрый муж, которого никогда не было. Она сама заработала на неё деньги чем смогла, долго откладывала и долгие годы мечтала о ней.

Ромашка лежала, прикрыв голову высоким воротником. Выбеленные перекисью водорода до коренных луковиц волосы давно уже стали безнадежно седыми, смешались с грязью и сейчас серо-пепельными прядями закрывали ей лоб и часть лица. На поверхности шёл

снег, смешивающийся с ледяной изморозью. Подошвы прохожих подхватывали его и переносили в подземный переход, отчего в неровностях напольного покрытия образовывались лужи и лужицы, заполненные холодной водой. Ноги торопившихся по своим делам людей топали по этим водостоям и поднимали грязевые фонтаны, брызги от которых попадали на щёки и волосы спящей бродяжки. Женщина морщилась и поджимала губы, но век не размыкала и не пыталась отвернуться. Лишь её ресницы вздрагивали. Если бы кто из пешеходов остановился и поинтересовался бы её возрастом, она не знала бы, что ему ответить. Она давно забыла свой день рождения и сомневалась в наличии у неё фамилии.

Ромашка не была ординарной бродяжкой, занимающейся уличным попрошайничеством. Шло время, и она освоила тонкое искусство активной «подставы». Не каждый день, но когда её просили «уважаемые» люди, Ромашка наряжалась в свои самые экзотические лохмотья с невыводимым запахом застарелой мочи и испражнений, чёрным гуталином наносила на лицо боевой раскрас и, укрывшись фетровой шляпой с широкими, в дырках полями, выходила выполнять задание. Она была особенно незаменима в тех случаях, когда надо было отогнать покупателей от палатки конкурента или внести сумятицу в возмущённую толпу обманутых дольщиков.

Когда-то она откликалась на имя Настя, а прозвище Ромашка у неё появилось позже, когда однажды по доверчивости призналась одному из своих выпивох-ухажёров в том, что в девичестве больше всего любила полевые ромашки, собирала их, сплетала в жёлто-белый венок и украшала им свою голову.

Она не обращала внимания на колючие капли талого снега, попадавшие на её лицо, потому что в своём хмельном забытьё она надеялась удержать при себе самое прекрасное виденье, которое сокровенно берегла и втайне надеялась, что Божья мать будет настолько милостива к ней, что подарит чудесный сон ещё раз, и ещё. А если чудо случится, то она вновь превратится в маленькую девочку Настеньку, и светлая женщина, любящая её мать, будет долго расчёсывать ей тёмно-русые волосы, заплетать длинные косы и рассказывать волшебные сказки и диковинные притчи, уверяя, что она, когда подрастёт, а случится это очень скоро, обязательно превратится в лесную нимфу или Белоснежку. А потом встретится ей красивый юноша-принц и полюбит её, и будут они жить долго-долго и очень счастливо, и родятся у них три маленьких розовощёких ангелочка: две девочки и один мальчик.

Закончив очередную сказку и завязав в косы большие алые банты, мать долго смотрела на свою счастливую дочку, гладила её по головке и целовала серо-зелёные глаза в ожерелье длинных и пушистых ресниц.

Маленькое сердечко Настеньки сладостно замирало, и она верила, что всё так и случится, потому что ей сказала об этом её дорогая мамочка, а мамы, как известно, никогда не врут. Бойко стучали её беленькие сандалики на загорелых ножках, когда она резво сбегала вниз по деревянной лестнице длинного барака, в котором жили её родители. Ей было так хорошо и радостно, что она хотела поделиться ожидающим её счастьем со всем белым светом, с летним солнышком, которое поджидало её на небе каждый день, и с зелёным, в васильках и ромашках полем, которое начиналось как раз за их домом.

А потом, когда закончилось лето и прошла зима, к ним в комнату вошёл хмурый дядя в замасленной рабочей спецовке и, смятая в руке кепку, сказал, что их Петруха, то есть её отец, погиб от электрического разряда, когда ремонтировал разомкнувшуюся сеть. Мол, нашёлся один болван, который включил рубильник тогда, когда работы на линии ещё не были завершены.

Этой части своего сна Ромашка всегда боялась, и провидение чаще всего щадило её, но иногда из тайного убежища её памяти выплывали жуткие картины, как постепенно начала пить её прежде ласковая и заботливая мать. Мать пила, а окружающие люди её поддерживали, и она всё чаще стала забывать, что вместе с ней живёт ещё одно, маленькое и трогательное

существо, её дочка Настенька, которой никто больше не заплетал косички. Так прошли годы, а потом наступил вечер, а за ним и ночь, когда к ним в гости пришли три здоровых громкоголосых мужика, которые много пили и дымили папиросами. Мать вначале смеялась и хохотала, пила мутную водку и бурое вино, а потом враз затихла и повалилась ничком на кровать. А следом произошло то, что Настя никогда не видела и не смогла понять. Мужики закрутили подолом платья голову беспомощной женщине и, приспуская брюки, один за другим стали ложиться на её мать, которая никак не сопротивлялась, а только мотала головой из стороны в сторону и мычала что-то нечленораздельное.

Тогда Настя испугалась, и ей показалось, что эти чужие люди делают с её мамой что-то нехорошее и обижают её. Она стала кричать и махать маленькими кулачками. Но никто не услышал её и не пришёл к ней на помощь. Только один из них, самый здоровый, с небритой щетиной и скособоченной набок отвислой нижней губой, взял со стола очередную распечатанную бутылку с тухлой жидкостью, приложился к горлу и разом выпил водку до половины. Потом, взглянув исподлобья на притихшую девочку, сипло процедил сквозь обкуранные, широко раздвинутые зубы:

– А эта ничего, подойдёт. Подросла уже. Вполне.

Память пощадила её, но до конца своих дней Ромашка будет помнить эту долгую ночь, нависшие над ней расплывшиеся морды, тяжёлый запах перегара и бесконечную боль во всём теле. Сдвигались и раздвигались стены комнаты. Раскачивалась под потолком пыльная лампа: назад-вперёд, и ещё раз назад-вперёд, и ещё, ещё, ещё...

Но сейчас среди плевков и окурков Ромашке снилась самая добрая, ромашковая часть её жизни. Наверху заканчивался день, шёл снег, шуршали ботинками неугомонные люди. А потом кто-то наклонился к её уху и предупредил, что вечером придут за ней и заберут куда-то, но зачем, не сказал.

Не всё ли равно, в конце концов?!

\*\*\*

В этот день были дела и у Синяков, более известных в окрестном мире как «синюшная тройца», – закадычных друзей, составлявших тем не менее эшелонированную социальную ячейку: Синяк-1, Синяк-2 и Синяк-3, в которой командные функции принадлежали, как ни странно, не Синяку-1, а Синяку-3, и не потому, что тот был самым старшим, а потому, что чаще других возвращался в состояние, которое можно было бы назвать «условно трезвым».

Определение «синие» пресловутая тройца заслужила исключительно тем, что не только цвет лица, но и цвет рук, шеи и всего тела у них был голубовато-лиловый.

– Никто и никогда не выпил столько «бухалова», сколько мы, – к случаю и без него любили заявлять они и, горделиво вскинув головы, обводили взглядом победителей притихших «соплеменников».

Что верно, то верно, так как в словах Синяков о том, что они начали пить прямо со дня рождения, было много правды. У всех троих родители были хроническими алкоголиками, и потому первые же капли материнского молока быстро приучили их неокрепшие организмы к тому, что без содержания алкоголя в крови поддерживать жизненный цикл они уже не могут. Появились они на этот грешный свет в разных деревнях и посёлках необъятной страны, но встретились только в её сердце – гостеприимной и всеядной Москве.

Основным местом своего обитания в мегаполисе тройца избрала подъездные пути, незакрытые ангары и незапертые двери списанных плацкартных вагонов. Тепло, уютно, надёжно, не хуже, а лучше, чем в нарытых людьми бетонных складских помещениях, подземных туннелях и прочих полутёмных закоулках, до которых рука цивилизации не могла, а вернее, не желала дотянуться. В лучших друзьях у «синюшной команды» состояла злющая и разно-

шёрстная стая бродячих собак. Симбиоз зверя и человека проявлял себя во всей красе природной рациональности. Обострённый нюх одних безошибочно выводил на скрытые залежи гниющих продуктов питания, а угасающий разум других помогал лучше ориентироваться в мире машин и современных технологий. И потом, нет ничего комфортней, чем коротать студёные ночи, согреваясь теплом шкур лежащих под твоим боком собак.

Прозвище «трое Синяков с площади трёх вокзалов» звучало представительно и авторитетно, помогая открывать доступ даже в такие труднодоступные сферы, как «Черкизон», где можно было разжиться любым марафетом, и подворотни Большой Лубянки, где в одном из полуподвальных помещений Луговая Машка (почему «луговая» – никому не известно) варила замечательный «винт» из двух видов очистителей для канализации и каустической соды.

Железные желудки Синяков без протеста принимали в себя взрывной компонент, но с одним непременным условием: в него должны быть добавлены ложки две-три свежего медного купороса – чистейший продукт, на который не смели покушаться даже крысы с метростроевской линии «Москва-кольцевая». Добавлять и смешивать купорос со всем, что можно было глотать или втягивать через нос, было патентованным «брендом» трёхвокзальных друзей – их know-how, так сказать, которое они ревностно оберегали и не давали покушаться никому, отстаивая право первооткрывателей. Именно купоросная медь со временем придала их коже непередаваемый синюшный оттенок, вызывая удивление медиков из органов призрания и неподдельное восхищение ночлежных красавиц.

– Вот что, братаны, – поутру провозгласил Синяк-3. – Сегодня мы будем впервые представлены высокому сообществу. Так что должны соответствовать случаю. Берите руки в ноги, голуби, и в путь. На Павелецком нас подстригут, на Савёловском помогут, а накормят уже на Воротниковском, куда надлежит прибыть к восьми часам вечера. Всем понятно?

– Надлежит? Прибыть? – хмуро протянул из своего угла Синяк-2. – На кой хрен нам это надо?

Накануне была жестокая пьянка, а утром наступило не менее жестокое похмелье. Поэтому Синяк-2 просыпался медленно и последовательно. Вначале открыл один глаз, потом другой и в довершение столь сложного процесса руками неуверенно принялся ощупывать своё тело, чтобы наверняка убедиться в том, что все его части на месте.

– Это с какого же рожна нам куда-то тащиться надо? – поддержал его Синяк-1, который давно уже прикидывал, как через час-другой они осчастливят себя «процедурой» из растворённого в ацетоне эпоксидного клея, парами которого сподручно наслаждаться, засунув голову в полиэтиленовый пакет.

– Надо, значит, надо, синекрылые вы мои, – усмехнулся Третий, будучи в полной уверенности, что он владеет волей остальных собутыльников. – Заветное слово я получил. Птичка-синичка мне ночью на ухо прокукарекала.

\*\*\*

К восьми вечера подвал, что в Воротниковском переулке, был полон. Это был очень знаменитый подвал, один из многих в подземном хозяйстве исторической Москвы. Особенностью являлась его уникальная протяжённость. Поговаривали, что, если разобрать разделительные стенки, достроенные в более поздний период, через подвал можно выйти к линиям городского метро, а то и подобраться к внутренним помещениям Московского кремля. Хотя эти предположения, вероятнее всего, относились к разряду не подтверждённых никем легенд. Много что может привидеться ловкачам-дигтерам и фантазёрам из археологических экспедиций.

За импровизированным общим столом, составленным из самых различных подручных предметов, как то: деревянные и металлические ящики, длинные доски, садовые скамейки

и разбитые и выброшенные за ненадобностью на помойку гарнитурные стулья, – гудело шумное сообщество весьма колоритных персонажей. Можно сказать, что в плохо освещённом помещении собралась лучшая часть московской клошарной аристократии.

Здесь был и Колбасная Шкура, принарядившийся в весьма приличный, хотя и потрёпанный временем твидовый пиджак и такой же древний шерстяной свитер. Рядом с ним сидела Ромашка, волосы которой были аккуратно причёсаны, а губы даже подведены коричневой помадой. Настроение у неё было приподнятым, и вела она себя весьма оживлённо.

Напротив разместился одорукий Миша-машинист. Было время, когда он действительно водил тяжёлые грузовые составы, но однажды ему не повезло. Июльский зной на пару с алкоголем размягли мозги и притупили внимательность в самый неподходящий момент, когда из-под колеса вагона вывернулся плохо закреплённый тормозной башмак. Безжалостная сталь стотонным грузом отхватила Мишке руку и заодно расплющила сцепщика, покотившись дальше по железнодорожной колее и сокрушая всё на своём пути. Теперь из прошлого у Мишки осталось только одно неискоренимое желание: ночью пробраться в депо, где шло формирование поездов метро, и залезть в передний вагон, поближе к кабине машиниста, с тем чтобы ездить в нём весь божий день. Строгие станционные смотрители делали вид, что не замечают забившегося в угол вагона бродягу – всё-таки как-никак коллега, чем доставляли Мишке искреннюю радость от осознания того, что он находится при любимом деле.

На предновогоднее мероприятие Миша-машинист пришёл в хорошем настроении и теперь сидел и вертел головой во все стороны – многих из числа присутствующих он не знал.

Ближе к центру «стола» разместилась сплочённая «профессорская группа», включавшая в себя выходцев из недр самых различных профессий. Был тут убеждённый сединами преподаватель с институтской кафедры марксизма-ленинизма, в одночасье потерявший работу по причине «установленной ложности» его области знаний. Был колоритный учитель математики из средней школы с высоким лбом и седой гривой, любивший после первых пятисот грамм портвейна почитать на публику Есенина. Здание его школы под предлогом ветхости снесли и больше не восстанавливали, а вырыли котлован под будущую точечную застройку, который с годами до краёв заполнился водой. Был и преподаватель слесарного дела из некогда существовавшего профтехучилища, ликвидированного со всей системой профессионального образования, который вообще ничего не пил и потому вызывал всеобщее подозрение. Однако он предпочитал всегда и обо всём молчать и потому сумел заслужить себе некоторое снисхождение. Были даже такие, которые признавали в нём скрытого философа и провидца.

В прошлом уважаемые члены общества и главы своих семей, они быстро оказались в сточной канаве, не выдержав напора бессмысленных социальных катаклизмов. Всё их мужество и ответственность за судьбу родных и близких растаяло вместе с остатками уважения к ним как к людям, имеющим право на существование в новых политических реалиях. Потерянность и безденежье капля за каплей вытеснили из них чувство собственного достоинства, успокоив совесть в алкоголическом дурмане. Теперь их глаза лихорадочно блестели в ожидании возможности приступить к любимому занятию, чтобы довести себя до нужной степени непотребства и заняться «интеллектуальными» дискуссиями и мордобоем.

Были тут и сидевшие рядом активистки из бесчисленной стаи «райских птичек», выловленных тенётами по всем ближним и дальним уголкам седьмой части суши и свезённых в Москву для участия в уличных инсценировках под общим названием «разведи ближнего». Убогие старушки, покинутые всеми калеки и неистовые «богомолки», давно утратившие собственную волю, предпочли доживать свой безрадостный век не в голоде и забвении, а в составе вымуштрованных «пятёрок» и «десяток», дружно налетавших на сердобольных прохожих у входов в метро, на шумных аллеях воскресных парков и в пределах монастырских оград.

Были тут и принарядившиеся Синяки с выбритыми физиономиями, замершие, как легкоатлеты перед командой «фас», то есть «старт», чтобы наброситься на стоявшее перед ними

вино-водочное изобилие. Синяки бросали хитрые взгляды и подмигивали друг другу, давая понять, что каждый из них явился на торжественную ассамблею не просто так, а с «джентльменским» набором пакетиков с порошком из размолотых таблеток эфедрина, смешанных с любимым медным купоросом.

Был здесь и недоучившийся семинарист-расстрига, получивший гордое наименование Кадило, который на все духовные запросы своей бродяжной паствы глубокомысленно отвечал, налегая на басовые тембры голосовых связок: «Молите, и прощены будете» или «Ищите, и обрящете» – для разнообразия.

Не было здесь только мальчика, обитающего на «Куршевельском Монблане», что в химкинском левобережье, терпеливо ждущего приезда очередного мусоровоза. Каждый урчащий грузовик с огромным контейнером представлял собой сладостную загадку. Когда наступит долгожданный момент, с каким замиранием сердца кинется он на вываленную кучу мусора, с тем чтобы начать лихорадочно разгребать городское дерьмо в поисках сломанных, но таких красивых детских игрушек.

Не будет на новогодней церемонии и безногого бомжа, что раз от разу устраивает на Павелецкой площади импровизированный концерт. Бегут мимо озабоченные прохожие, а вслед им несутся скомканные звуки, которые весёлый барабанщик выбивает из картонных коробок короткими палками, не обращая внимания ни на снежный ветер, ни на безразличие людей. Только однажды неподалёку от него задержались двое приятелей, чтобы перекурить актуальную тему:

– Ты угомонился бы, обсос. Не видишь, здесь люди разговаривают.

Уличный затейник поднял широкое, в оспинах лицо и ещё сильнее налёг на свои палки. Говоривший поморщился, сказал несколько слов своему приятелю и увлёк его за собой в сторону входа в метро, от греха подальше. На прощание, сильно затянувшись, бросил окурочок на поверхность картонного «барабана». Бомж, бессмысленно улыбаясь, посмотрел в спины удалявшимся друзьям, взял изломанными пальцами недокуренную сигарету и с наслаждением втянул в себя горький дымок.

Вечером не будет отчаянного музыканта: может быть, кто-то унесёт его после дневной вахты, а может быть, он сам уползёт прочь, отталкиваясь своими палками от грязного и мокрого асфальта, чтобы раствориться в ночной мгле.

А на столе было чем полюбоваться. На развёрнутых газетных листах и кусках старых клеёнок теснились бутылки настоящей высококлассной водки различных марок не ниже «Белуги» с серебристыми и золотистыми горлышками, а кроме того, тёмно-красный церковный кагор и светлое австралийское вино в пятилитровых пластиковых канистрах. Кучками возвышалась любимая Шкурой, и не только им одним, колбасная и мясная продукция микояновского мясокомбината, груды свежих овощей и фруктов и непрменные кастрюли с распаренной картошкой и свежайший, будто только что из пекарни, пшеничный хлеб.

«Откуда такое невиданное изобилие? Кто его принёс?» – невольно возникал молчаливый вопрос у притихшей бродяжной братии, и взоры всех обращались к дальнему торцу «стола», где, вальяжно развалившись в единственных в этой «аудитории» креслах, сидели несколько человек в замечательных и явно сшитых на заказ костюмах, в белых рубашках и чёрных галстуках.

«Кто они?» – шелестел безответный вопрос, хотя некоторые догадывались, что их собрание удостоили посещением представителя высшей касты, которую Синяк-3 сдавленным голосом обозвал: «Это наш спецназ».

Немногие видели этих неразговорчивых и малообщительных людей, и ещё меньше понимали, что любое человеческое сообщество может существовать, только подчиняясь чётко выстроенной иерархии, у которой всегда будут свои строгие законы. Обязательно будет кто-то, кто станет контролировать места обитания и места кормёжки. Следить за движением денежных

потоков, создавать видимость свободы и карать непослушных, а также защищать свой особый мир от вторжения чужаков.

Но даже они, эти не терпящие возражений всевластные люди, опасались тех, на кого они не могли распространить свои законы и правила. Никто толком не видел этих существ, но все бомжи слышали о них и никогда не разговаривали о тех, которых прозывали не иначе как «призраки». Именно они, и никто другой, были настоящими хозяевами ночной Москвы. Ходили слухи о том, что они проникают сквозь стены; что им ведомы все подземные тайны; что они могут становиться невидимыми, когда в том есть необходимость. Говорили, что они могут помочь самым отчаявшимся, а могут по ведомой только им причине забрать к себе, и больше о таких несчастных никто и никогда не слышал.

Вот и сейчас Шкура и даже безгрешная Ромашка с опаской поглядывали в дальний угол подвала, скрытый в непроглядной темноте, откуда можно было ожидать появления бестелесной бледной фигуры грозного «призрака».

– Господа золоторотцы, прошу вашего внимания. Я вот что имею вам сказать, – неожиданно на одесский манер прозвучал высокий голос, и из-за той части стола, где сидела представительная группа людей, поднялся худой и очень высокий человек.

Разговоры моментально стихли, и тридцать пар глаз устремились на него. Говоривший пользовался авторитетом. Он знал Москву, и «Москва» знала его. Считалось, что этот человек выполняет функцию коммуникатора между теми, кто кормился улицей, и теми, кто нежился в комфортабельных офисах. Иногда его называли Денис Иванович, но чаще всего он откликался на эффектную кличку Цицерон, которая давно приклеилась к нему за любовь к звучной фразе и умению долго говорить.

– Я рад приветствовать столь уважаемых людей, – начал свою речь оратор. – Мы собрались здесь не потому, что сегодня канун Нового года, хотя знаем об этом событии. Мы сами можем себе устанавливать любые праздники, когда и где хотим. Никто, кроме нас, не может позволить себе делать то, что пожелает душа. Меня охватывает чувство восторга от того, что я вижу перед собой столько уникальных и удивительных людей, которые знают жизнь не понаслышке, не из бульварных книг и пустых домыслов и не с парадного крыльца, а такой, какова она есть на самом деле. Это славно. Мы исключительные люди уже потому, что свободны от миазмов современного общества, и потому, что имеем раскрепощённый разум. Каждый из нас обладает правом самостоятельно решать, что делать днём и как провести ночь.

Мы думаем что хотим и говорим что думаем. Разве могут позволить себе такую вольность те, которые там, наверху, добровольно спеленали себя путами условностей и заняты лишь тем, что из века в век ищут бессмысленную формулу совместного сосуществования, а потом убеждают друг друга в том, что каждая изобретённая ими социальная модель есть единственно верная? Каждый раз до поры до времени, пока опять насмерть не передерутся. Наша грязь чище, чем их золото, которое они боготворят и ради которого они совершают ужасные преступления. Мы с равнодушиемзираем на материальные утехи того, кто думает, что он счастлив и удачлив, и знаем, что он глубоко заблуждается, потому что не ведает, в какую пропасть шагает.

Каково? Разве это есть истинная свобода? Нужна ли нам подобная общественная клоака? Я убеждён – нет. Те, кто считает себя добропорядочными гражданами, брезгливо скривившись, отворачиваются от нас. Благотворительные организации, именующие себя армией милосердия, хмурятся, завидев наше внешнее непотребство, а полиция походя начинает многозначительно поигрывать дубинками. А нам смешно. Это мы, а не они находимся на вершине развития. Когда нам кидают монеты, для нас это не милостыня. Нет, совсем не так. Наоборот. Принимая подаяния, мы даём людям возможность хотя бы раз в жизни проявить добро, совершить жест, которым они надеются успокоить свои ущербные души.

«Когда же он, наконец, уймётся? – нетерпеливо маялись Синяки и поглядывали на соседей в поисках поддержки. – Порет чушь и не останавливается. Нам до фени все его высоко-

парные сентенции. Вино прокисает, закуска пропадает. На кой хрен мы сюда вообще пришли? Давно бы сидели в каком-нибудь чулане и пили бы своё бордосское молоко».

– Я уже заканчиваю. Я догадываюсь о сжигающей вас изнутри жажде, – провидчески заключил Денис Иванович. – Позвольте лишь пожелать вам сохранить в ваших сердцах гордость за принадлежность к нашему благородному сословию. Запомните – нас любит Бог. В завершение хочу отдельно поблагодарить наших хлебосольных кураторов и поднять этот бокал за ваше благополучие и лучезарное будущее. Вы все – доблестные сыны и дочери дальних дорог и открытых просторов. Приступайте, господа. Ни в чём себе не отказывайте и ничем себя не ограничивайте. Все, кто хочет высказаться, прошу.

Последние слова Цицерона утонули в общем гуле одобрения. Задвигались стулья и скамейки, зазвенело стекло бутылок. Разноголосица и смех стали общим фоном разудалого застолья. Никто не рвался к «микрофону», если только не упоминать неудачную попытку Синяка-1, который вывернулся из-под стола, где он нюхал жгучую порошковую смесь, а потому осмелел для очередной выходки:

– Хочу, чтобы все и всегда, – после чего вновь свалился под стол.

\*\*\*

Если вы думаете, что вход в параллельный мир где-то очень далеко от вас и ещё не описан законами квантовой физики, то боюсь, что вы крайне заблуждаетесь. Стоит вам сделать шаг-другой в сторону и один вниз – и вот вы уже в иной ипостаси.

*Январь 2018 года*

## Коммунист

Городок Кончиховск, что расположился на Среднерусской равнине среди обширных лесов и не менее обширных болот, был интересен уже тем, что в него вели две дороги, а выводила всего лишь одна. Данный факт мог свидетельствовать только о некоей исторической особенности этого во всех других отношениях малопримечательного места, а именно о том, что большинство людей, которые приезжали в этот город, в нём оставались, жили поколениями и постепенно превращались в тихих и добропорядочных его жителей.

А кроме того, рядом протекала река Утянка, по которой, сказывали, когда-то ходили купеческие струги. Одним словом, из десятилетия в десятилетие, из века в век Кончиховск торговал, богател, строился и последовательно раздвигал свои границы. Его не затронули всполохи Первой мировой, и по его булыжным улицам в «Гражданку» не звенели подковы Первой конной армии. Без особых тревог пережил он и лихолетье Великой Отечественной.

Горожане привыкли жить за своими палисадами и увлекались главным образом тем, что регулярно обновляли фасады своих домов, перекрашивая их в цвета соответствующей эпохи: при императорах больше в сине-голубой, а при большевиках – в красно-коричневый. Они привыкли к мерному течению жизни и научились планировать её на годы вперёд. И всё было бы так, как всегда, если бы не вихрь перемен в девяностые прошлого столетия не нагрёб им под окна мусорные вороха новой свободы, о коей они прочитали в красивых бумажках, на которых в обрамлении витиеватой вязи было впечатано монолитное слово «ВАУЧЕР».

Общими усилиями и не без помощи местного окончательно спившегося юриста дяди Жоры они наконец уразумели, что все скопом в одночасье стали совладельцами единственного крупного предприятия города, которым был их родной завод по обжигу кирпича и литью железобетонных плит. Поверив в несбыточное, они однажды, как обычно, подошли к фабричной проходной, из которой, откликнувшись на настойчивые требования, наконец вышел хмурый сторож и объявил, что завод не работает, так как его продукция больше никому не нужна.

– Где директор завода? Пусть выйдет секретарь парткома, – возвысили голоса заводчане.

– Директора нет. Уехал директор и больше не вернётся, – ответил сторож и с подозрением оглядел толпу: не побьют ли? – И парткома больше не будет. Разве не слышали? Распустил Горбачёв свою партию. Не нужна она ему более. И вообще расходитесь лучше по своим домам. Неча глотки рвать да пылить своими башмаками. Что нужно, объявят.

Так не стало ни работы, ни денег, но завод стоял, как и прежде, и посреди него красовалась труба из красного кирпича, самая высокая во всём городе. Розоватые бумажки, проще – «гайдаровки», помещённые поначалу на самое почётное место в доме, за стекло буфетов, постепенно перестали привлекать внимание и скоро переехали из буфетов в дальний ящик комода в прихожей или улеглись на дно бабушкиного сундука в деревенской избе.

Однако настал светлый день, когда в низкорослые дома из кирпича и бруса, в двери покосившихся пятиэтажек постучались розовощёкие молодые люди, сообщившие опешившим от неожиданности обывателям, что эти цветастые ваучеры являются хорошим товаром и они готовы их купить за приличные деньги.

– Ну чего ты, бабка, упрямышься? – говорили они. – Видишь, на бумажке написано «десять рублей», а мы тебе даём десять тысяч. Усекаешь разницу?

И то правда. Понимать надо.

– По ныншним временам, – чесали кудлатые головы горожане, – за десять тыщ два кило крупы-ядрицы купить можно, и на пшеничный батон ещё останется. Дело стоящее. Не прогадать бы, а то завтра ещё пару нулей в ценники подкатят.

Привычка – великое дело. Привыкли и так жить. Поскребли по сусекам, снимали дедовские иконы и поволокли продавать их по переулкам и кривым площадям заезжим гастролёрам. Бизнес, однако.

Настали великие времена. Никто никого больше ни о чём не спрашивал. А ведь бывало: – Ну как, Иван, у вас там на заводе. План выполняете? На сто десять процентов? Неплохо. А мы на своём предприятии сто двадцать выжали. Теперь передовики. В газетах пишут. И обо мне написали. Не веришь? Зря. Вот смотри, последний номер «Зари Кончиховска». На первой странице моя фамилия с фотографией: мастер цеха Голованов. Вот так-то, брат.

Теперь по-другому, лучше. Теперь появилась возможность выбора. Завод стоит – так и что с того? Пойду на рынок коробки таскать или чужими носками торговать. Нормально. Был слесарем седьмого разряда – стал коммерсантом-челноком. Перспективы.

А можно вообще ничего не делать и днями не выходить из своей коммуналки. Красота. Ни парткома тебе, ни профсоюзной организации. Некому больше взывать к совести и читать морали. Хочу – работаю, а хочу – водку пью и дурь нюхаю. Имею право, ибо я личность. Не нужны мне идеологические праздники. Кому какое дело, куда и зачем семьдесят лет назад поскакал красный отряд. Может, город от белых освободить, а может, самогон и сало у крестьян отнимать. Им, тем героям, льготно было по полям мотаться да сабельками размахивать, а ты потом из года в год ходи на демонстрации, как на дежурство, и славь их подвиги. Надрывайся, плакаты таскай, в ладоши хлопай. Утомили, если по чести сказать.

Конечно, если умом пораскинуть, всё было бы ничего, если бы водку бесплатно наливали. Так нет, куда там. Сам иди в магазин и за свои кровные покупай «мерзавчик». Хватит, намитинговались.

Поэтому, по вышеизложенным причинам, очередной день 7 ноября девяносто какого-то года пришёл в город Кончиховск скромно и незаметно. Его больше не встречали толпы празднично разодетых людей с бумажными цветами и яркими воздушными шарами, не кричали беззаботные дети, восседающие на плечах родителей, и не гремели в его честь стопудовые медные оркестры. Не видно было ни красных знамён, ни благообразных отретушированных портретов вождей ушедших времён.

В этот день над городом нависли многослойные тучи и принялись равнодушно уводнять пустынные улицы и заплёванные скверы с разломанными скамейками. Тяжёлые капли бугрили речку Утянку и шлёпались на головы нахохлившихся ворон, терпеливо выжидавших нечаянную добычу у ржавых мусорных контейнеров.

Тихо и задумчиво стоял замерший на вечные времена кирпично-бетонный завод. Стекланные окна были уже давно выбиты, а входные двери разломаны в щепу и сорваны с петель. Не было и сторожа, а заодно и его проходной, зато остались широкие чугунные ворота, перевязанные толстой железной цепью с большим амбарным замком.

Перед воротами маячила одинокая фигура человека среднего роста и возраста, в районе шестидесяти. На его голове торчала рабочая кепка, а тело было укутано в старое драповое пальто времён седьмой пятилетки, воротник которого был поднят. Человек поёживался и время от времени поводил плечами – должно быть, дождливые капли умудрялись проникать за шиворот и холодили простуженную шею. В руках он держал красное знамя с серпом и молотом и ещё с какой-то вышитой или наклеенной надписью, прочесть которую было весьма затруднительно. Дождь основательно вымочил алое полотнище, и теперь оно тяжёлой влажной тряпкой обвисло вдоль самодельного древка.

– Это ты, что ли, Ефим Степанович? – раздался голос со стороны.

Голос принадлежал небольшому невзрачному человечку без возраста в длинном, до пят, брезентовом плаще и резиновых сапогах с обрезанными голенищами. В одной руке говоривший держал верёвочную авоську с пустыми стеклянными бутылками, горлышки которых просовывались сквозь крупные ячейки, а в другой – полураскрытый чёрный зонт со сломанной

спицей. Плохо натянутая материя зонта образовывала гамаки, в которых скапливалась дождевая вода и периодически переливалась через край бурными водопадами.

– То-то я смотрю – ты или не ты?

– Доброе утро, Сергеич. А тебе чего не спится в такую погоду? – Человек со знаменем развернулся к окликнувшему его прохожему.

– Я по делам, – ответил обладатель брезентового плаща и сморщил своё и без того морщинистое лицо. – Видишь, сколько бутылок насобирал. – Никита Сергеевич горделиво приподнял свою авоську. – Пункт приёма стеклотары как раз в восемь открывается. А ты, я вижу, не так просто здесь с флагом маршируешь. Никак, день Октябрьской революции праздновать собрался. А? Чего скажешь?

– А что? Имею право. Его никто пока что не отменял.

– Может, имеешь, может, нет. Почём мне знать, – сморщил свой нос-картофелину Сергеич. – Чудак ты, Ефим Степанович, как я погляжу. Убогий какой-то, прости Бог мою душу. А полотнище, что ты к шести приторочил, поди, из заводского красного уголка спёр? Далось оно тебе.

– Ничего не спёр, – обиделся Ефим Степанович. – Я его на полу нашёл, когда завод закрывали и всё побросали. А на демонстрациях, когда советская власть ещё была, я всегда знамя нёс.

– Так ты что, Степаныч, идейный? И давно ты таким стал? – хохотнул брезентовый плащ. – Все мы ходили когда-то на эти демонстрации. Что с того? По принуждению, а лучше сказать, по разнарядке. Всё, прошли эти времена. Отменили коммунизм. Теперь каждый сам по себе. И мне это нравится.

– А что тебе нравится? Водку пить среди бела дня?

– А ты водкой меня не попрекай, – насутился Никита Сергеевич. – Я норму и время знаю. А ты, Ефим Степанович, чего притащился к заброшенному заводу и теперь выпендриваешься передо мной? По какому праву? Оглянись, милый. Нету с тобой никого. Нетутя. Никого, ни единого человека. До фени всем твои идеи. О другом у народа голова болит. Устал он коммунистов семьдесят лет слушать. Коммунизм строили-строили, и что? Ничего так и не построили. И вожди твои разбежались. Кто куда, а больше по своим интересам. Своя рубашка, знаешь, и коммунисту ближе к телу, чем твои горлопаные идеи. Что, скажешь, не так? И нету у тебя никакого права меня судить. А глазёнки на меня не пяль и лучше по правде скажи: чего ты за советскую власть так распинаешься? Она что, тебя соской выкормила?

– Тёмный ты, Никита Сергеевич, не поймёшь ты меня, – равнодушно произнёс человек с флагом, и взгляд его устремился поверх изломанного зонта собеседника куда-то вдаль, словно он хотел рассмотреть там, за верхушками кончиковского леса, нечто близкое и только ему ведомое. – Ты ведь был членом партии, а такое говоришь.

– Был, был я членом партии, – гневно загремели в авоське пустые водочные бутылки, – ну и что с того? Тогда всех в партию тащили.

– Не всех, – Ефим Степанович снял намокшую кепку и резким движением попытался вытряхнуть из неё накопившуюся влагу. – Мне вот не предложили, потому что был техником, по сути инженерный состав, на который выделялись ограниченные квоты по приёму в члены КПСС, а ты, Сергеич, был формовщиком, то есть простым рабочим, которых упрашивали стать коммунистами. А то, что ты в партии всего лишь год продержался, то в том твоя вина. Выгнали тебя за пьянство да за прогулы. Вот и весь сказ. Отсюда вся твоя злоба на советскую власть.

– Вспомнила бабка, когда девкой была, – язвительно хмыкнул Никита Сергеевич. – Для таких, как я, коммунисты придумали слово покрасивей, чем «рабочий», – «пролетарий». Чувствуешь, как звучит? А что рабочий? Сейчас рабочий, тогда рабочий, тысячу лет рабочий. Какая разница, на кого хребтину гнуть. Что на коммунистов, что на капиталистов – один хрен. Рабы всегда и во все времена нужны. Что нам в школе говорили? Мол, были на Руси когда-то

великие князья, и печалились они о том, что, мол, «тяжела ты шапка Мономаха». А потом, что при большевиках, что при нынешних возвращенцах, претендентов от кормила власти за узду не оттащишь. Значит, не так уж тяжела власть. Как мёдом намазана. Но теперь у меня хотя бы есть возможность выбирать: работать или не работать. Понукать меня уже никто не будет. За что мне любить советскую власть?

– Её любить не надо. Её понимать надо, – промолвил пожилой заводчанин. – Я вот беспартийный, а эта власть в моём сердце. Тогда, при коммунистах, случись у меня беда – я мог пойти в партийный комитет, в профсоюз. Меня слушали и слышали. Бывало, пожурят, а потом обязательно обогреют. По-товарищески. А сейчас куда податься? В суд? Ну-ну, посмотрю я на тебя. Тогда я квартиру бесплатную получил, да и ты тоже. Детям высшее образование дал, а теперь внукам моим куда идти? Образование за деньги. А где их взять? Лучше уж сразу в бармены или в торговцы на рынок, и то по знакомству. – Ефим Степанович замолчал и попытался развернуть намокшее полотнище своего знамени. – Вот видишь, Сергеич, что на нём написано: «Вперёд, к победе коммунизма».

– Ну, мечтай, мечтай, малахольный, – вскинулся Никита Сергеевич. – У нас дураков любят. С ними веселее. Ты оглянись, чудило. Помнишь первого секретаря обкома нашей области – теперь губернатор, и нынешний мэр города тоже успел в горькоме партии подвизаться. Как были они раньше господами, так и сейчас ими остаются, только перекарасились из красного в синий цвет, аристократический. У них всё, и фабрики, и земли. И ты сам, я вижу, Егор, неплохо сейчас живёшь.

– Это что ты говоришь, Никита Сергеич? – обиделся Егор Степанович. – Работы нет, пенсия грошовая. Не то говоришь, Сергеич, не то. Не ожидал от тебя такого. Я тебе так скажу: Эрнесто Че Гевара тебя в свой отряд не взял бы.

– А говорю я так, Степаныч, потому что вижу, что времени у тебя много на такие глупости, – скривил рот в язвительной усмешке старый формовщик и, осмотревшись, вышел из лужи, которая за время разговора успела образоваться вокруг его сапог. – Ишь, праведник какой выискался. За народ он, за справедливость. Про Че Гевару запел. А тебя бы он взял? Оборванец. Чего выдумал. Упрекает здесь. Да кто дал тебе такое право? А ты спросил тот же народ, что ему нужно? Нет? Так я отвечу. Народу твоему нужно, чтобы его никто и никуда не тыкал, не мешал жить своими понуканиями. А ты опять с лозунгами и нравоучениями лезешь. А по какому праву? Вот ты всегда такой был. Не коммунист, а хочешь быть святее самого Ленина. Значит, есть у тебя время пустое молотить и флагом своим размахивать. А я вот бутылки по кустам и помойкам выскиваю, потому что не знаю, как мне этот день прожить и чем закусывать буду. Может, так-то лучше, чем агитацию под дождём разводиться. Вот лучше помог бы мне железки с завода натаскать. Их тоже за деньги сдать можно. Вот тогда я сказал бы тебе спасибо.

– Прав я, тёмный ты, Никита Сергеич, и беспамятливый. А я помню, что всё, что я видел вокруг себя – наш завод, город, – было моё, народное. Тогда я работал, и зарплата была день в день. Попробуй её задержать рабочему человеку хоть на сутки. Враз комиссия из Москвы налетит и мозги секретарю обкома как надо вправит. Тогда я шёл по улице – и знал, что это моя улица; видел заводские кирпичные стены – и был уверен, что это мои стены. Я видел людей – и знал, что они такие же, как и я, товарищи, что нет ни богачей, ни бедняков. Помню, как весело смеялись и балагурили после субботников, добровольных, без принуждения. Разложим на сваленных замороженных досках принесённые из дома бутерброды и чайные термосы и душевно разговариваем. А потом шутки шутим, и чувствовал, что мои содранные ладони начинают быстрее заживать. Вот она, неразрывная сила коллективизма.

Ты говоришь, что сейчас вольготнее. Верно. Настолько, что я боюсь заглядывать в свой холодильник, потому что в нём, кроме молока, яиц и остатков картофельного салата, ничего нет. Мне говорят: демократия, свобода. Тоже верно. Кто мне мешает выйти на площадь

и орать всякую околесицу? Никто. Выходи и ори, а люди будут проходить мимо, потому как никого и ничто не интересует. Правда, есть одно преимущество: «дружеского» шлепка по хребтине полицейской дубиной точно дождусь. Так, для профилактики, чтобы шум не поднимал, а не потому, что у меня есть законные требования. И я спрашиваю себя: кто я? Почему вокруг меня вакуум? Кто сотворил его и кому это выгодно? Ныне всё стало для меня чужим, хозяйским, и знаю, что там, где я был своим, теперь стал незванным гостем. Ушла радость. Вот так-то, брат...

Ефим Степанович отвернулся и глубже надвинул на глаза кепку, которая от водяной мороси всё больше напоминала размокший масленичный блин.

– Нет смысла продолжать этот разговор. Не понимаешь ты меня.

– И то верно, – в унисон ему отреагировал бывший партиец, а ныне городской алкоголик. – Я с тобой только время теряю. Ты мне лучше скажи, который сейчас час? Вижу, на руке часы носишь. Что, девять утра уже натикало? – заторопился Никита Сергеевич. – Поди, на сдачном пункте очередь собралась, а я здесь с тобой о пустом толкую.

Отойдя несколько шагов, человек в брезентовом плаще и резиновых сапогах обернулся и на прощанье крикнул:

– Ты до которого часа здесь стоять будешь, Степаныч?

– До десяти постою, – отозвался тот. – Раньше в десять как раз из ворот выходила на демонстрацию наша заводская колонна. Вот до десяти и побуду тут.

Никита Сергеевич в ответ только безнадежно махнул рукой и, больше не спрашивая и не оглядываясь, пошёл вдоль кирпичной стены завода, всё больше ускоряя шаг: что с большим разговаривать?

Оставшись один, Ефим Степанович первым делом решил отряхнуться и привести в порядок одежду и своё снаряжение, с которым вышел на индивидуальную демонстрацию. Дождь уже кончился, из-за туч проглянуло солнце, и на душе стало веселее. Воротник пальто можно было опустить, а промокшую кепку засунуть в карман. При свете дня красный цвет флага стал ярче, а подувший от реки ветер принялся трепать края отяжелевшего от дождя полотнища.

«А ведь в чём-то Сергеич прав. Бросила нас советская власть, отказалась от простого люда, как от ветхой вещи. Только вот в чём дело: она меня, может, и бросила, да я её не бросил. Помню её, не забываю, тёплое в себе храню. Ничего другого у меня не было и не будет. В Москве копился тот яд разложения. Из одного советского учреждения в другое затекал, травил головы трудягам на заводах и солдатам в казармах. А теперь больно смотреть, как страна моя переполосована заборами частной собственности. Охрана кругом – больше, чем вся армия. Ни подойти, ни подъехать. Но заборами, дорогой мой Сергеич, Россию не обвяжешь и охраной не убережёшь. Родина – это ведь не только территория. Родина размещается прямо здесь, в головах. Ходить далеко не надо, а с этим, браток, ой как неладно.

А может, не всё потеряно и можно что-то выправить? Может, найдётся тот, кто сделает первый шаг и зычно крикнет: «Красное знамя вперёд!» – и всё тут завертится само собой? Может быть, он скажет, какие есть ещё пути, которые ведут к светлому зданию социализма? Не верю, что жизнь моя прошла напрасно, и того, что было, уже не вернёшь, и мне пригрелся лишь чудный сон, а на самом деле человек слаб и немощен и заказано ему совершить задуманное.

Неужели не его это удел – жить среди равных и гордых, без унижения и робости, без страха за себя и будущее? Жить так, чтобы сильный и удачливый был братом и опорой слабому и тихому, а не его угнетателем. Или за мечтой скрываются всего лишь «басни» идеалистов, которые принесут новую боль и новые горести? А на деле рождённый не так и не там обречён на то, чтобы маяться и складывать в стопку свои несчастья при безразличии одних и под злобные усмешки других?

Ведь был уже Первый. Он тоже верил в светлое в душе человеческой, увещевал и рассказывал, но, оплётанный беснующейся толпой, лёг за все страдания на крест, под железо палачей. Стоит ли после этого ещё испытывать надежду?

Но если я в чём-то не прав и совесть сильнее чрева, то слово «товарищ» вернётся ко мне. Тогда вновь я с моим флагом встану в ряды людей новых, свободных, и голос мой из шёпота станет прежним, «над реями рея», возвысится и сольётся в победную песню.

Что это со мной? Опять тешу себя напрасными мыслями, которые давно и никому не нужны? Смешон, наивен? Ведь не приснилось же мне, не почудилось? Сам по телевизору видел, как генеральный секретарь той самой партии преклонился перед повелительным жестом другого коммуниста, но рангом пожиже, и подмахнул указ о конце собственной партии. И что? А ничего. Никто даже не дёрнулся. Была идея – и нет, была партия – и тоже нет. Куда разбежалась вся двадцатимиллионная её рать? Тогда зачем я стою здесь? Не историк я и даже не археолог, чтобы раскапывать завалы столетней давности и разбираться, как это всё начиналось и почему так бездарно, под стыдливое молчание миллионов и свист и улюлюканье сотен, закончилось?»

Резкий звук заскрипевших тормозов заставил вздрогнуть задумавшегося Ефима Степановича. Рядом с ним, буквально в метре от того места, где он находился, остановилась длинная чёрная машина с затемнёнными стёклами. Задняя дверца автомобиля приоткрылась, и из проёма высунулись вытянутое лицо и плечи плотно сбитого парня.

– Эй, мужик, – просипел парень. – Ты чего здесь стоишь? Семафором работаешь?

– Просто стою, – ответил Ефим Степанович, ещё не понимая, чем он мог кому помешать и привлечь внимание совершенно незнакомых ему людей.

– А не знаешь, что не положено тебе тут стоять? Эта частная собственность. Что бебики на меня тарачишь? Исчезни, как тебя и не было. Минуту даю на раздумье.

– Извините, но я могу тут стоять. Это мой завод. Я отработал на нём тридцать лет, и, кстати, в основном в горячем цеху. Я здесь каждый камень знаю, и все меня знают.

– Что-о-о? Кто тебя знает, гнида? – угрожающе протянул парень и не спеша стал вылезать из БМВ. Когда он выпрямился, стало ясно, что он на голову выше пожилого заводчанина. – Ты что, идиот, слов не понимаешь? Какой твой завод? Здесь ничего твоего нет. Мы его владельцы. Если немедленно не испаришься, то до конца дней своих жалеть будешь. Ты своими гнилушками пораскинь, что я с тобой сотворить могу. Кстати, погоди, что это за палка у тебя с красной тряпкой? Так-так. Оказывается, ты не просто идиот, а ещё и провокатор. День своей революции вздумал праздновать? Вот теперь ты по-настоящему передо мной виноват.

Парень в кожаной куртке шагнул к Степановичу и ухватился рукой за древко:

– Отдай, сволочь.

Красное знамя заходило в руках. Лицо и толстая накачанная шея громилы налились кровью. Это был сильный молодой человек. Ефим Степанович держался из последних сил: шестьдесят лет – один ответ – шестьдесят бед. Ушла сила, а вместе с ней и уверенность в себе. Остался только характер.

«Где я? На какой я баррикаде? Держаться, только держаться. Ведь у меня в руках знамя, под которым столько говорено, которое высоко поднимали в своих руках столько моих товарищей. Теперь я отвечаю за него. Я один и не имею права уронить его. Это наша рабочая честь», – суматошно заметалось сознание заводчанина, который как мог сопротивлялся взбешённому насильнику.

Наконец разъярённый дебошир вырвал древко из рук упрямого «демонстранта», с хрустом переломил его через колено и бросил вместе с красным полотнищем в придорожную грязь. Содеянного ему показалось мало, и он схватил Степановича за отвороты пальто, крепко встряхнул его и сильно оттолкнул в сторону. Шатаясь, пожилой человек попятился назад

и наверняка упал бы, если б не наткнулся на чугунную ограду въездных ворот. Родной завод ещё, может быть в последний раз, поддержал его.

Щёлкнул замок открываемой автомобильной двери, и с переднего правого сиденья вылез ещё один парень. Такой же грузный, увалистый, но с ещё более покатыми плечами борца. По уверенным манерам, неторопливым словам и движениям сразу можно было признать, что в группе прибывших в БМВ парней старшим является именно он.

– Послушай, Бык, – обратился он к задире. – Оставь старика. Нам ехать надо.

– Бить его я не буду, – промычал тот. – Что его бить? Развалится. Но вот из-за таких, как он, у меня деда раскулачили и с семьёй в Сибирь выслали. А за что? За то, что трудились и землю пахали как положено?

– Ладно, успокойся. Этот твоей семье ничего не сделал. Оставь его. Не по душе мне такие «тёрки». Мой старик такой же упрямый, как этот. Их не свернёшь. Пусть доживают свой век.

Братки погрузились в лимузин; чмокнув, захлопнулись двери, и взревел мощный мотор. Автомобиль ещё не тронулся с места, как приспустилось заднее стекло и через проём вылетел большой красный помидор, который смачно шмякнулся о грудь Ефима Степановича. Брызнувший сок и зерновая мякоть разлетелись во все стороны, измазав не только пальто, но и лицо пожилого человека.

– Это тебе, мужик, орден за верность революции, – раздался из глубины салона сиплый голос Быка.

БМВ резко сорвался с места и унёсся вдаль.

Другое слово напрашивается, но приходит только одно: боль поколений не забывается никогда и передаётся по наследству. Была боль у одних, теперь много боли у других, и конца этому не видно.

Ефим Степанович перевёл дыхание и, достав смятый носовой платок, принялся оттирать лицо и заляпанное красной пульпой пальто. Наклонившись, он подобрал разломанное знамя, заботливо свернул полотнище и тяжёлым шагом направился в сторону своего дома.

В этот вечер в одинокой квартире пожилой ветеран по достоинству отметил свой день. Повезло, что дети хорошие родились – не забывают старика. Вот к 7 ноября продукты подкинули. Горела настольная лампа, на столе стояли чайник, тарелка с нарезанными бутербродами и лежал раскрытый альбом со старыми фотографиями того времени, когда слово «субботник» воспринималось как праздник коллективного труда. По телевизору к случаю показывали фильм «Весна на Заречной улице». Ефим Степанович смотрел на молодых сталеваров и их весёлых девушек, улыбался вместе с ними простым и понятным ему радостям, переживал их заводские передряги и любовные романы. Он любовался открытыми лицами и сам чувствовал себя счастливым. Он не смотрел игру актёров, а видел свою родную фабричную семью. Он вновь был молодым и сильным, когда мог по кругу пожать мозолистые ладони своим товарищам и пройтись с ними по «горячему» цеху. Раздуть горн и опустить стотонный пресс на извиляющийся раскалённый металл.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.